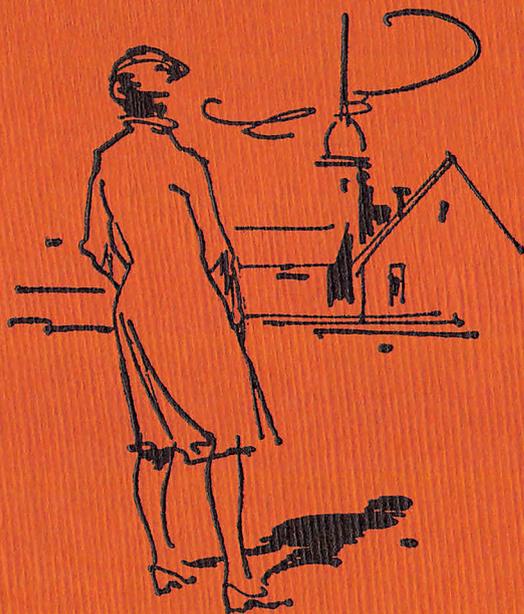


ЛЕОНИД РЖЕВСКИЙ



Duna

ЛЕОНИД РЖЕВСКИЙ — ДИНА

ЛЕОНИД РЖЕВСКИЙ

ДИНА

(ЗАПИСКИ ХУДОЖНИКА)

роман

Новое Русское Слово
Нью-Йорк

Copyright 1979 by author

Обложка работы художника Сергея Голлербаха

Гане, моей жене

Собравшись писать о Дине, я долго примеривался: как передать поярче черты ее, не позабыть чего, не присочинить лишнего, не... не... не... и так далее... Не доверяя личным своим угадкам, я вкладываю ее историю в уста нашего друга Пьера, мастера не словесных, но живописных фигур, вписавшего ее, как будет видно дальше, в свою собственную судьбу.

А в т о р .

«дина» (от греч. dynamis, сила) — единица измерения силы в механике.

Т о л к о в ы й с л о в а р ь .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Увидя на моем столе стопку исписанных полулистов в зацепке, Моб пожалала плечами и сказала: О-о!

Это ее «О-о!» могло иметь много разных смыслов в зависимости, главным образом, от мимического сопровождения. Теперешнее, с пожиманием плеч и вскинутым подбородком, означало, примерно: «Еще один графоман родился! Поздравляю!»

Но вот сразу же у меня тут — дань литературной неопытности: стопка записок — это уже позднее, смутное время. А начать надо бы с раннего, безмятежного, до «событий». Когда мы с Моб еще совсем мирно жили в одной туманной европейской

провинции, и по утрам за нашими окнами клиноподобные, как клочья морской пены, носились чайки.

«Моб» — кличка моей сестры. Сокращенное «может быть» или «мобыть» — как она это произносит, заключая свои, обычно скептические, мысли вслух и прогнозы.

Ей, Моб, уже под сорок, она почти на десять лет моложе меня — последышек нашей большой семьи, почти полностью выведенной в расход свирепой бухгалтерией эпохи: кроме нас с Моб, кто-то еще в Ленинграде, затаившись, как мышь под веником («и пожалуйста, не пишите нам писем!»)

Непонятно, почему Моб до сих пор не вышла замуж. Во всяком случае не из-за бесцветности: она и посейчас еще хороша собой. Может быть, она слишком умна для своих поклонников.

Мы живем с ней ладно, хотя взгляды на то, что происходит там, на Большой земле, у нас иногда полярны. Я — мостостроитель и постепеновец, она же — непримиримая «анти». Каждое утро, после раннего кофе, она снова ложится в постель, на груди — транзистор, настроенный на северную волну. Она слушает и кусает губы; пунцовая пыльца вспыхивает на ее холодных, немного надменных щеках. И когда я мелькну в полуоткрытых дверях, она прорывается:

— Боже, как они лгут! Как могут люди там слушать это десятилетиями и не сойти с ума!

— Или здесь — слушать это тоже десятилетиями и не устать возмущаться! — говорю я не слишком громко — во всяком случае Моб делает вид, что не слышит.

Она вообще редко снисходит до споров со мной о политике. Она считает, что политика не моя область и что я, попросту говоря, ни черта в ней

не смыслю. Моб убеждена, что я великий художник, и невозможно вывести ее из этого (как впрочем и многих других) заблуждения. Она верит, что рано или поздно я напишу необыкновенную картину и сделаюсь знаменит. Кислые мины каких-то расхристанных критиков и журнальных девиц, которых она приводит смотреть мои этюды, не смущают ее нисколько. Она сама выдумала мое «направление», в мудрености которого тонут любые подозрения в эпигонстве, и отыскивает в моих картинах какие-то «нео-» и «измы», которых там нет и которым откуда было бы взяться.

Моб религиозна и очень начитана.

На ее книжной полке — кое-как сляпанный мной по ее просьбе бюст Солженицына; на ночном столике неизменно дремлет Евангелие, а в глазах (это случается иногда вечерами) — отголоски неких астральных, я бы сказал, обращенностей и наитий. Мы сидим тогда врозь: я — в своем ателье, Моб — в гостиной, выключив электричество и окунув ноги в вылегший на полу через окошко перламутровый свет.

Сидим долго, до полночи. Моб, я и Афанасий. Афанасий — уличный фонарь. Это его свет.

Странное прозвище вышло из следующего эпизода:

В первый же вечер, въехав в эту нашу квартиру и пока Моб, гремя кастрюлями, размещала в кухне свое хозяйство, я влюбился в наше ночное окно. Цельного стекла, оно выходило в городской парк. Две лиственницы, черные на буром небесном фоне, заплывали в это окно по краям, а посередке, на изогнутой по-лебединому шее, висел фонарь, бросаая на ковер косяк перламутровых лучей.

— Моб! — крикнул я. — А фонарь светит как! Погляди!

Моб — шатенка. Шатенки же, я замечал, часто приглуховаты.

— Афанасий? — переспрашивает Моб, не слышав. — Какой Афанасий?

Так получил имя фонарь, наш сожитель. «Афанасьевской» я бы вообще назвал всю пору, предшествующую смутному времени. Безмятежную пору нашей жизни втроем.

Что еще — о Моб?

Днем она целиком на земле. Ее способность калькулировать житейские будни поразительна. Днем она помогает мне оживлять взятые на дом фарфоровые «слепыши». Да, потому что «великий художник» занимается разрисовкой меркантильной керамики и фарфора — ваз, сервизов, подставок и полоскательниц. Славы это, разумеется, не приносит. Но — деньги! Диктатор финансовый — Моб.

Как, однако, начать о главном? С чего собственно всё началось?

**

Ранней весной — в начале, кажется, марта — Афанасия выкорчевали.

Взамен подвесили уродливую неоновую линейку, отнеся в сторону от нашего окна.

И тогда в воронке между двумя лиственницами вдруг повисла небольшая розоватая звезда.

— О-о! — сказала Моб, сведя у подбородка ладони, — и это означало у нее восторженность. Редкую, потому что сентиментальной она не была.

А тут она вытянула у меня из рук справочник, когда я хотел заглянуть в небесные святцы, установить имя этой заместительницы Афанасия.

— Пусть она будет без имени, — сказала она. — Фламарион говорил про какое-то открытое им свечение: “Je le constate, mais je n’explique pas”.* Это какая-то совершенно неожиданная звезда. Ее нужно обдумать!

И потом, в часы вечерних наших уединений, я часто видел из коридора ее пристывший к окну силуэт. Может быть, думал я, эта простенькая звезда на зеленоватом ситчике неба будит в ней какие-то воспоминания — одно время я подозревал у Моб ностальгию, в которой она сама не призналась бы и под пыткой.

В общем, с исчезновения Афанасия всё и пошло...

2

В один туманный мартовский полдень втиснулся в мою рабочую кабину на службе Вилли. Как всегда — боком, чтобы не задеть стенда с подсыхающими раскрасками, и от смущения сгибая в коленях длинные ноги. Этот Вилли, представитель на Восток нашей фирмы, был без малого двух метров ростом и, когда останавливался за вашим стулом, у вас непременно рождалось ощущение чего-то, грозящего на вас обрушиться.

Он и обрушился.

*) «Я его констатирую, но не объясняю» (франц.)

— Пойдете завтракать? — спросил он. — Ибо я хочу познакомить вас со своей женой. Она ваша землячка, тоже из Ленинграда. Если угодно...

Вот ведь как оглушил! Правда, я знал, что он со дня на день должен был возвратиться из восточной командировки; одна из секретарш сплетничала, будто хлопчет жениться на русской; но кто верит секретаршам и тому, что этакое может осуществиться так вдруг...

— Конечно, угодно! — сказал я.

Идя длинными коридорами в закусную, я почему-то представлял себе нечто массивное, подстать самому Вилли, округлое и дородное. Может быть — под впечатлением туристских фотографий с белыми торсами — итогом, как говорила Моб, принудительной картофельно-злачной диеты.

Но она была невысока и тонка, как шурупчик, эта моя землячка. Незаурядна — той незаурядностью, которую мы, художники, особенно ценим, потому что не кидается сразу в глаза, но словно бы ввинчивается в вас постепенно, нарезом.

— Дина! — привстала она мне навстречу.

Вечером, по настоянию Моб, я набросал ее лицо — в чёлке и ружьих скобках вдоль щек. Дальше: широко разведенные брови над зеленоватыми миндалинами глаз и тонкие ноздречки, надувающиеся порой, как микропаруса; в них — сдерживаемый до времени вызов. Впрочем, это уж я забегаю вперед.

— Энергичный фас! — сказала Моб. — Если б не чёлка, то — как с молодежных плакатов вроде «Все на стройку!», «Дадим стране»... и так далее.

Но вернусь к первому нашему разговору.

Оживленным он не был: обе стороны будто прикидывали свои вопросы-ответы на весах: не спро-

сильно бы чуть больше, не промолчать бы чуть дольше. Свободнее всех чувствовал себя Вилли, перекачивая выпуклые глаза с Дины на меня — какое, мол, произвела впечатление.

В общем я узнал:

Что она работала в Ленинграде чертежницей в каком-то трудно выговариваемом учреждении.

Что вечерами училась на фортепьяно и любит русскую народную музыку.

Что ей 25 лет (это я высчитал сам).

Что Вилли обещал устроить ее в нашу фарфоровую фирму на полдня — не то чертить, не то раскрашивать.

— Я должен вас познакомить с Моб, мою сестрой, — говорю я ей. — Придете к нам?

Она будто немного теряется, сдвигает разведенные брови:

— У вас здесь, небось, много русских? Всяких там бывших генералов и князьев, а я, знаете, совсем не светская...

— Какие тут русские, в этом городишке, Бог с вами! Князья — тем более. У Моб есть одна старосветская чета, тоже любители частушек, — и это всё. Кстати: у нас есть и рояль.

— Ладно, — говорит она неуверенно. — Там поглядим!..

И как же вскинулась Моб, услышав про «князьёв» и это «там поглядим». Я тут же решил быть наперед осмотрительнее в рассказах, а вслух привел резоны в оправдание всяких обмолвок.

— Какие обмолвки! Их там выращивают в этой ненависти к несуществующим помещикам, которые будто бы всё еще мечтают о своих имениях, к обыкновенной человеческой вежливости, которая якобы буржуазное притворство, и к прочему западному.

Перед тем как выпустить, муштруют, наверно, особенно. Ей... — как там ее зовут?

— Дина.

— Ей, мобыть, вообще запрещено водиться с нами, эмигрантами. Да, не мотай головой! Очень возможно!

3

Дина стала работать в нашей фирме, и мы встречались в день по нескольку раз. Кое-что из рассуждений Моб приходило мне самому в голову во время этих встреч и разговоров: какая-то настороженность сквозила в ее подвижных бровях и непонятное равнодушие ко всему местному, будто вся ее жизнь была прожита за границей, ничего нового...

Я говорю ей об этом.

— Чем, по-вашему, я должна восторгаться? — взрывается она. — Ширпотребом? Витрины, чтобы глазеть, есть и у нас в Ленинграде. Или их хваленными, втридорога квартирами? По мне в одной комнате удобней — всё у тебя под рукой и убирать легче. В общем-то мы дома, знаете, довольно хладнокровны к вещам.

И тут же, с чуть внятной краской на скулах, заметив, что я рассматриваю ее новый свитер, расшитый бисеринками по вороту и плечам:

— Понятное дело, здесь много разных красивых пустяков.

— Вчера, — вставляет Вилли, — мы выбрали диван и совсем сильно поспорились.

— Заткнись, Виллик! — говорит она.

**
*

Но потом лед стал таять.

По утрам Дина заходила в мою кабину, и я учил ее кое-каким азам ремесла. В топорщившемся на узких плечах халатике, с вымазанными пальцами она выглядела проще и доверчивей. Показывал я ей свет и тени природы, которые обычно плохо умеют различать, в здешние серые дни — тем паче, разность и свечение красок. «Слушать краски надо, как слушают музыку», — говорю я и еще — про Делакруа, который считал, что желтый, оранжевый и красный цвета несут в себе идею радости.

— Да, да! красные — больше всего, особенно густые. Они — как алкоголь... Вы согласны?

— Вполне. Густой, теплый красный — цвет крови в наших жилах; когда вы вглядываетесь в него, у вас учащается пульс...

И так далее. В общем, у нее оказался природный вкус к орнаменту и отличное чутьё цвета. Мы сообща выдумали два-три новых мотива для слепышей, и ее расхвалили в лаборатории. К завтраку она явилась сияющая и даже вдруг высказалась одобрительно о некоторых туземных порядках. Потом сказала:

— Я непременно хочу увидеть ваши картины.

— Приходите к нам ужинать. В субботу, например.

— Ужинать?

— Вы не знаете еще, как Моб готовит.

— Ну что ж, — решает она, подумав, — пойдём к ним в субботу, Виллик?

И в субботу:

Мы ждем до восьми с накрытым столом. Я, по минутам мрачнющая Моб и пара старичков — любителей музыки. Эти — с особенным нетерпением: оба за рубежом с девятнадцатого года, и им кажется, что вот-вот должна произойти встреча с самой родиной; при каждом доносящемся с лестницы гуле она поправляет под подбородком старинный кулон, он — слуховой рожок на шнурочке.

Под салфетками, уставая пахнуть, стынут ювелирной выделки пирожки.

А в восемь с половиной звонит телефон.

От смущенья, должно быть, русский язык Вилли из рук вон:

— Дина не очень чувствует... просим, пожалуйста, извинять. В другую оказию, если можно...

— В другую оказию, — щурясь зловеще, говорит Моб, — хозяйки не будет дома!

Беда с ней!..

4

Героиней моих записок, еще до того, как они начались, Дина становится для меня самого незаметно, день за днем заглядывая в мой рабочий закуток.

Это уже апрель. Солнце, не успевшее потеплеть, течет сквозь матовые ширмы у окна на пологий мольберт, пестрый перебор красок в фаянсовых ванночках, на узкие в сиреневых обшлагках запястья и проворные пальцы с брусничного цвета ногтями.

Пальцы ухватывают то один стебель кисточки, то другой, отбрасывают прочь, застывают раздумчиво на слепыше и вопросительно — на образце орнамента.

Она что-то спрашивает, Дина, а я не тороплюсь отвечать — мне приятно следить за ее движениями.

Признанию этой приятности я долго сопротивляюсь. Мне скоро пятьдесят, и я в последний раз пережил шок влюбленности, когда мне было двадцать три года. С тех пор я черств ко всем видам воинствующей женственности и в работах своих избегаю этого рода декоративной природы. Моб, конечно, стала бы утверждать противное, но она вообще перевела меня в какой-то свой, ни на что не похожий ракурс.

Попутно сказать, натурщицы в этом краю живописны отменно. Недавно уговорили меня принять один частный заказ на керамический экран «Ветер». К керамике у меня давняя слабость. В Эрмитаже когда-то часами простаивал у итальянских ее мастеров — какой блеск и какая чувственность красок! Поэтому с керамикой здешней встретился отчасти как со старой знакомой. Прикладная, она, конечно, мелка и узорчата, но переключка красок рождает иной раз мини-восторг... Экран мой был — купальщица в рост у прибора; сзади — дюны и вёты, покренившиеся от ветров. Когда натура моя в нашем смотровом холле, где работал, выпрямилась, заведя за спину локти, и струя воздуха из парикмахерской сушилки отбросила назад ее волосы, я невольно выдал ей комплимент. Господи, какую пошлятину пролопотала она в ответ!..

Дина напросилась ко мне в этот сеанс и бойко делала вид, что ей непервой видеть, как натурщи-

ца, не заходя за ширму, меняет бикини; но покраснели у нее даже и уши.

— Они здесь красивы! — шепнула она, подойдя, — как по-вашему?

— Моб находит, что в здешней их красоте мало духовности, что все прославленные их прелести — бёдра, кожа, волосяные покровы цвета первозданной невинности — всё это вроде статей натурального экспорта, как были, например, в старой России щетина и воск. Впрочем, Моб — женофобка.

— А вы?..

**
*

Красива ли Дина?

Со своей чёлкой и чуть скуластым лицом она похожа на школьную физкультурницу. Ничего броского, но очутившись подле, промелькнуть по ней взглядом, не задержавшись, нельзя. Хороша у нее полуулыбка — скупая полоска зубов, которую хочется распустить до конца, а помянутая зеленоглазость будто держит вас начеку, в ожидании, что она скажет сама или что предложит сказать или сделать вам. Одна бровь под челкой вдруг ломается, образуя на лбу складочку, похожую на восклицательный знак. «Давайте, давайте!» — говорит она, слегка прихватывая пальцами ваше запястье, и вы послушно спешите сделать то, что она говорит. В ней нет ничего зримо российского — ни носа пипочкой, ни дородности, и вместе с тем она непрекаемо «своя» с ее неровностью и перекидчивостью: то спор или ворох вопросов, то — ни слова со мной и Вилли за завтраком, и тогда мне кажется,

будто веет от нее родным Питером, белыми ночами и блоковскими туманными набережными.

Эта сентиментальность у меня — от ностальгического обожания Ленинграда —

Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда...

Здесь мы с Диной нашли общий язык. Я показал ей «Мир искусства», посвященный петербургской архитектуре, и альбомы с рисунками Добужинского и Бенуа. Мы даже перехватили оттуда кое-что для своих слепышей. А когда вспоминал однажды при ней, какая величественная, пронзительная горизонтальность этого «самого умышленного на свете города» открывается вам, если смотреть, подъезжая к нему, из окна вагона, как блещут навстречу его шпили и иглы, и купол Исаакия, — она слушает меня, приоткрыв рот, то есть с несвойственным ей выражением детскости и чуть что не с мокрыми глазами — вот-вот всхлипнет!

Потом, смутившись и покраснев восьмерками по скулам и вискам, откидывает ребрышком ладони пряди со щек.

Но продолжаю последовательно.
О ней и о Моб.

**

Мне удалось, наконец, свести их вместе.
Помог случай.

По четвергам мы с Моб ходили в бассейн.

В тот четверг, о котором речь, он был весь набит приготовишками из какой-то школы, «икрой», как называет их Моб, — брызги, гам, ступить некуда!

Мы едва дождались свистка, который покончил с этим содомом. А когда икру выгребли, в поголубевшей воде обозначилась волосатая грудь Вилли, голова Дины в оранжевом колпачке и оранжевое же вокруг сквожение купальника.

Они к нам подплыли.

Я немного боялся за первые слова Моб и мимику. Но обе подали друг другу мокрые ладони с самой светской улыбкой.

Потом они начали скакать с вышки, а мы с Вилли, сидя на изразцах, назначали им очки за качество; прыжки были «ампирные» у довольно-таки плотной Моб и «барочные», параболами и кувырками, — у Дины.

Потом, когда она, болтая в воде ногами, сидела на барьере между Вилли и мной, я вдруг начал спрашивать себя, чем она в нем прельстилась и как могли проморгать ее ленинградские парни.

И другой разный вздор лез почему-то мне в голову.

Пока Моб не сказала совсем неожиданно:

— Пойдемте теперь к нам чай пить. Хорошо после плавания...

.....

Я часто думал потом, что было бы лучше, если б не состоялось этого чая; вообще не состоялось бы знакомства Дины и Моб. Потому что с того именно вечера в нашем, скажем так, душевном хозяйстве всё пошло вкривь и вкось.

— Ну вот, теперь, по крайней мере, я знаю, что она такое, эта твоя новая пассия! — объявила Моб, закрывая за ними дверь.

Я пропустил «пассию» мимо ушей: Моб ревновала меня ко всем знакомым и полузнакомым женщинам, на которых я смотрел дольше, чем смотрят

на часы, чтобы узнать время.

— Она очаровательна, не правда ли? — спрашиваю я.

— Она пыталась очаровать меня, — ты в ее глазах давно лег костыми. Но, слава Богу, я еще распознаю фальшь.

— Фальшь?

На мой взгляд Дина была в тот вечер натуральнее, чем когда-либо. И живей, что впрочем могло идти за счет нескольких рюмок коньяку, выпитых за чаем. Она занятно подтрунивала над Вилли, говорила приятности Моб, даже обняла ее уходя — Моб, не выносившую дамских объятий. Сверх того — играла нам на рояле разное, в том числе попури из советских песен — буря и натиск, вся ходуном! совсем неожиданная для меня Дина! «Железно!» — восторгался Вилли, собиравший разные новые словечки «оттуда».

— Игра ниже среднего! — припечатывает Моб. — Жесткая кисть, а педаль — без всякого чувства меры!

Мне неохота вести дискуссию, но Моб хочет выговориться.

— Ты действительно собираешься делать ее портрет?

Я не отвечаю ей сразу, потому что ворошу в памяти только что состоявшийся возле моих картин разговор. Была в нем, разумеется, и пара сдержанных «ахов» («Здорово вышел у вас этот вот цветок на полу — хочется поднять и понюхать!»), но больше — вызывающая над переносом складка:

— Вы женоненавистник? Почему они такие страшные, ваши женщины?

— Я такими их вижу. Да они такие и есть за исключением той карамельной в их жизни поры,

когда их помещают на обложки журналов. Приглядитесь!

— И еще, если не рассердитесь: вы вроде избегаете движения? Они все неподвижные, ваши типажи, будто в задумчивости. А что у них будет дальше? какой жест?

— Задумчивость — тоже движение, если говорить о людях, а не о каруселях. А — что дальше?.. У музыки есть время, у живописи — момент. Момент динамичен, но не протяжен. Как сообщить ему продление, заставить его жить во времени, чтобы у него появилось прошлое и будущее?..

— Я наверно сказала глупость... А есть какое-нибудь название у вашего направления?

— Спросите Моб. Она специалистка по «измам», которые заехали к нам от Сезанна, Матисса, Ван-Гога и прочих, — у нас, кажется, нет для них почвы. Сергей Сергеич, мой большой друг, который живет в Америке, пробовал не раз мне цеплять ярлыки. Писал, что я — физиологический очеркист в живописи, что манера моя — вроде капустника в красках... А последний раз назвал мои вещи гротеском романтика.

— Почему романтика? Не понимаю.

— Я тоже. Но он находит во мне эмбрион романтизма, который вот-вот взиграет.....

— Ты действительно хочешь ее писать? — настаивает Моб.

— А что? По-твоему, она не заслуживает **в**нимания?

— Очень даже заслуживает. Но продолжать это знакомство мне не хочется.

— Сеансы будут не здесь — на службе. Но в чем, всё-таки, дело?

— В том, чтобы на этих сеансах ты не распро-

странялся бы, по своему обыкновению, о нас и наших планах. Можешь обещать?

— Что за пустяки, Моб?

— Щурясь и скрестив руки, она делает ко мне шаг.

— Неужели ты не видишь, — говорит она с теми атакующими движениями подбородка и головы, которые сами по себе выходят у нее аргументом, — неужели не видишь, что это типичная о т п у щ е н к а ?

Вот словцо! Его ввела сама Моб в эмигрантское политическое просторечье. Оно у нее обозначает русскую экспортную жену иностранца, выпущенную под залог кое-каких обязательств в компенсацию за брачное благословение и визу. Спору нет, такое случалось и случается, но Моб склонна преувеличивать и обобщать, и ее почти спортивная страсть к разоблачениям бесит меня порой.

— Ведь это — подозрительность без никаких оснований! — говорю я.

— Ты что, не слыхал: она почти призналась, что была в партии.

— Еще даже и не в кандидатах. В комсомоле, как когда-то и ты.

— Такую не могли выпустить сюда без особых условий. Я уверена.

— А если и с условиями, что тебе-то за дело?

— О-о! — выдыхает она возмущенно и отходит к окну. — Тогда нам с тобой разговаривать не о чем.

По пути она щелкает выключателем, и в комнате гаснет свет. Она любит вести такие беседы в полупотемках; уйти — обида на несколько дней. Я остаюсь и продолжаю про себя: в самом деле,

пусть бы и было у Дины задание, которое получают, вероятно, иные «оттуда»; задание, полузадание, четверть-задание, просто, наконец, обещание сидеть тихо, не подавая голоса. Переваливая через границу, люди стряхивают с себя навязанный долг и страх. Но — если бы даже... Пусть это выясняют те, кому следует. Причем тут мы? Самозащита — один из мифов, выдуманных Моб, вроде мифа о моей творческой гениальности. Чего опасаться мне, о котором на родине, несмотря на пару пожелтевших уже, должно быть, журнальных рецензий, ни одна душа больше не вспоминает?

Я излагаю потом эти свои соображения вслух.

Моб долго молчит. Где-то над ее силуэтом на прозелени горизонта розовато сквозит звезда. Кажется, что, глядя на нее, Моб считает какие-то астральные скрижали.

— Злоба... — говорит она потом звездным голосом. — ...Ложь! Посланцы оттуда — посланцы злобы и ненависти. Горе тому, кто не остановит руку, занесшую над ним нож!

И так далее, в таком же духе...

5

Словом, как я уже говорил, всё как-то расщепилось у нас после этого вечера.

Образовалось две Дины.

Первая — та, с которой я написал «Рисовальщицу», — с кистью в руке перед огромным фарфоровым блюдом в цветной путанице разводов и клякс. Путаница, кажется, удалась, и картина неожиданно обросла откликами.

— Гм... это словно бы и не твой почерк! — процедила Моб, разглядывая «Рисовальщицу» в прищур.

— Вы не изменяете себе, Пьер? — спросила Дина, когда я еще доводил работу до финиша. Она легко вжилась в это обращение «Пьер», а однажды образовала даже и уменьшительное: Пьерчик, — с ужасом представляю себе, что это могла бы услышать Моб!

Я сделал снимок с картины для заокеанского Сергей Сергеича. «Сознайтесь, что я угадал-таки в вас романтика!» — писал он в ответ.

— Фирма покупает у вас эту вещь, — сказал наш директор, и «Рисовальщицу» повесили у нас в закуской.

Но — хватит о Дине первой.

Дина вторая была творением Моб.

Сперва очень нехитрым, из одних только догадок и опасений. Но набросок постепенно обрастал сложными психологическими подробностями.

— Она алкоголичка! — слышу я как-то вечером. — Не делай изумленного лица — сидит в ней какой-то шок, и она глушит его с помощью алкоголя. Я поняла это, когда устроила этот чай. А тебе как художнику надо бы быть наблюдательней.

— Ты позволил ей себя сфотографировать? — схватывает она с моего стола фотокарточку. — Ты что, не понимаешь, для чего это делается?..

Или — вечер у Дины, устроенный по поводу моей «Рисовальщицы». Моб, усевшись рядом со мной, следит уголками глаз за всеми подливаемыми мне напитками.

— Что за бдительность, Моб? — спрашиваю я по дороге домой.

— Яды не исключены в практике мирного существования.

— Какая навязчивая идея! Видеть в ближнем...
— Я не договариваю: не заводите же спора на улице. Через несколько шагов ловлю себя на том, что слово «ближний» занял у Моб.

Ответную тираду она тоже молча доносит до дома, как овощ в авоське. И — едва закрыв за собою парадную дверь:

— Ближние оттуда — двойники! — начинает она на лестничной площадке, оборачиваясь ко мне лицом; остановившись ступенькой ниже, я слушаю ее снизу вверх. — Россия теперь — гигантская фабрика двойников. Вдруг переделать человеческую душу немислимо, и ее расщепляют, чтобы приучить ненавидеть то, что ненависти не заслуживает. Богу при этом не приходится ничего — всё отдается кесарю, вплоть до добровольного преступления. Складывается новый антропологический тип, в котором от традиционного русского склада почти ничего не осталось. Перечитай Бердяева...

**
*

Тема «двойников» у Моб — от Бурова.

О нем сейчас и начну, потому что как раз в эту пору он появляется у нас проездом на антикоммунистическую конференцию, где должен выступать.

Буров по профессии — специалист по каким-то машинам; говорят, получил даже европейскую премию за какой-то молоко-сушитель или тушитель, не **знаю**.

Но его «хобби» — политика. Он весь перепол-

нен доктринами идеологической борьбы, верой в растущее на родине сопротивление и свою освободительную миссию — от него так и несет Мининим и Пожарским.

Его второе хобби — Достоевский, которого знает почти наизусть и у которого взял идею двойничества. Вообще, Буров культурен, одарен многими способностями и умен, что среди этого типа политиков не так уж часто. Главное же — всегда в курсе того, что происходит «там».

У Моб он большой авторитет и, кажется, тайная ее симпатия. Не думаю, чтобы стал когда-нибудь явной: Моб не удовлетворилась бы никогда вторым местом, взамен первого, занятого доктринами. Но в его приезды она оживает...

Соблюдая конспирацию (не знаю, по действительной надобности или ради престижа), Буров никогда не дает знать о приезде заранее. В тот апрельский день объявился он у меня на службе неожиданный, как мираж — я даже глаза протер от изумления. Он пробурчал что-то о нетерпении меня увидеть и о том, что Моб будто бы послала его сюда завтракать, потому что сама уходила куда-то в город. Вздор! — я, конечно, сразу понял, в чем дело.

В закуской Буров тотчас же уставился на висящую против окна «Рисовальщицу» — по ней как раз эффектно проплывали с улицы солнечные отблески фар.

— А... это ваше? — спросил он, выдавая себя, потому что откуда бы, как не от Моб, мог знать о картине, и помолчал, разглядывая. Я ждал, что скажет что-нибудь пустейшее вроде: «творческое видение», «интуиция», «ракурс»... — когда люди проносят эти словечки, у вас спирает дыхание и слов-

но скребет кто-то ногтем по самой аорте.

Буров оказался, однако, на высоте:

— Должно быть, неплохо! — сказал он. — Но, по правде, в живописи смыслю я мало.

С этим мы отошли от «Рисовальщицы».

А через несколько минут явился и сам оригинал.

Забегая вперед, хочу признаться, что во время этой их встречи часто вспоминал Моб: таким сквознячком повеяло сразу от Дины, несмотря на любезнейшую осклабину Бурова.

Он начал ловко — с патриотических воспоминаний о Ленинграде. И — о белых ночах.

— А у вас тут есть белые ночи? Вы ведь на той же самой почти широте?..

Ответил ему я, чтобы спасти паузу, и пошел за бутербродами. Покуда ходил, он перескочил уже от белых ночей к Достоевскому.

Достоевский, как я уже говорил, был высоким его вдохновением и — вместе — полемическим динамитом.

— В «Бесах» предвидены даже личные портреты нечаевцев, которые прорвались к власти в октябре семнадцатого, — говорил он. — Программа же дана была целиком: мандат на бесчестье, террор, сатанинское презрение к человеку. Естественно, что от вас, молодежи, Достоевского хоронили — где же вытерпеть такого разоблачителя!.. Ведь миллионы замученных и убиенных; а то и просто погибших от голода, после того как снесли в торгсин последнюю серебряную ложку. Вот он, «построенный в боях социализм», по выражению прославленного стихотворца! Памятники вождям да Марксу, куда ни плюнь. Борода до колена, а дров ни полена! Рази ж не правда?

Был он приметного роста, Буров, с голосом гул-

кого рокотка, которым владел прекрасно, хотя и пускал иногда на верхах петухов, и каленым, терракотового цвета лицом, которое пудрил не только после бритья — единственная отмеченная мной у него слабость. Горячась, багровел еще больше, и на лбу влажно резались поперечины. «Хоронили», «рази ж не правда?» и прочее в этом роде вставлял, вероятно, для народности.

— Кое-что в боях у нас все-таки построили! — сказала Дина.

— Что, к примеру, чего не сделали бы за полвека без вас? А цена? Плантаторам не снился такой труд, с погонялами и за шиш с маслом! А разбазаривание народного добра! Вот вы, барышня, из Ленинграда. Слыхали, сколько сокровищ из одного только Эрмитажа сплавлено за границу?

«Барышня» кромсает ножиком бутерброд; тонкая кожа на висках и скулах заливается краской.

— Слыхали? — жмет Буров.

— Не слыхала!.. А вот про вас кое-что мне рассказывали. — При этом неожиданном добавлении она чуть поворачивается в мою сторону. Ей-Богу, не могу вспомнить, чтобы я когда-нибудь с ней о Бурове говорил.

— Что ж рассказывали-то? Враг?

— Вроде. Но между прочим переменим пластинку.

Мы меняем. Я спрашиваю, почему опаздывает к завтраку Вилли и кто уничтожит заготовленную для него гору салата (Дина называет его «травоядным»), но шутка не принимается, в воздухе, как в передышку на ринге у фехтовальщиков, — ожидание очередной схватки.

Они и схватываются, покуда хожу в буфет за

кофе. Возвращаюсь — холодная война уже на полном ходу.

— «Забота о писателе»? — рокошет Буров. — «Творческие обсуждения»? Бросьте, любима моя! У вас там по-прежнему учат соловья петь, вместо того чтобы попросту вытащить его из когтей у кошки. Рази ж не правда? Этот ваш запретительный реализм! Ведь в точности: «Барыня прислала сто рублей. Что хотите — то купите, белого и черного не покупайте, «да» и «нет» не говорите...

— О чем, интересно, писали бы вы?

— Лишен способности. Не у всякого жена Марья, а кому Бог даст! А вот у тамошних ваших талантов сколько шедевров не увидело света! Сколько литературных героев, взять хотя бы Живаго к примеру!

— Героев у нас достаточно.

— В жизни или в книгах?

— И в жизни и в книгах.

— Уж не вроде ли, скажем, Корчагиных?

— Скажем, вроде.

— Так ведь это антилитература, любима моя! И он же тупица — этот ваш недоросль-чекист! Главная его добродетель — рабье послушание и готовность расстреливать воображаемых врагов. За что и превознесен. Было когда-нибудь послушание при знаком героизма? Смирень пень — а что в нем? И какой, вообще-то говоря, новый героический человек может вырасти при полицейском режиме? Если этот режим выпестовал его для себя, то значит приучил мириться с насилием, то есть жить применительно к подлости. Подонки он, этот ваш новый советский человек, если в него верить! Я не верю. К чести для советского человека. А что до ваших литературных суждений — мне жалко вас!

— Можете не...

— Будет вам закидываться, любима моя, а лучше рассудим: двадцать с чем-то своих годков вы ведь, как ваш же один поэт изъяснился, в клетке прожили. Ни одной единственной книжечки из-за рубежа не допустили до вас, а вы вот тут сейчас перед нами: «Мы! да у нас!...» Ничегошеньки про Запад не знаете, на хвастовстве одном и сидите, а засиженное яйцо — всегда болтун!

Она слушает, отвернув от него лицо, с самой едкой из своих усмешек. Всё, вероятно, кипит в ней от негодования и ошеломленности неожиданной критикой.

Вообще в этом поединке, который лишь лоскутками, по памяти мне удалось записать, следил я не столько за словами, сколько за позами, мимикой и лязгом скрестившихся шпаг, мысленно набрасывая всё это угольком на ватман.

Выдержка была у них у обоих: с такой на диво натуральной небрежностью произнесла Дина: «Мне пора!» и поднялась не спеша, хотя от гнева крылышки ноздрей сделались у нее как слоновая кость.

А Буров после некоторого молчания — я провожал его нашими коридорами до выхода — вытер вспотевший лоб и, прощаясь, сказал:

— Вам нужно было писать с нее не рисовальщицу, а голову медузы. Да, да! Вы что, не видели, какая ненависть полыхала в этих кошачьих зрачках?

6

И вечер того же дня. Потемки в гостиной, как это любит Моб. Сама она — лицом к окошку, где

между лиственницами на зеленоватом клочке горизонта мерцает ее звезда. Я впервые слышу гносеологию этой ее привязанности, которую она как бы представляет теперь Бурову.

— Иногда, — говорит Моб, — я читаю в ее мерцании путь собственной моей маленькой жизни. И мой приговор, и мое оправдание; и то, над чем только плакать, и то, на что еще можно надеяться. И вопрос, который зададут мне за последним вздохом земным, и слова, какими ответить Неведомому...

У нее красивый голос, у Моб, — контральтовый, с серебром, которого накидала в него природа, как, бывало, в колокольную плавь кидали для звону рубли и полтинники. Когда она рассказывает о своей звезде, в нем звенят некие, я бы сказал, астральные призывы, бьющие вам по нервам.

— Или, — говорит она, — я вдруг уверяюсь, что моя звезда — звезда величайшего Предвестия, — та самая, что на две тысячи лет осветила судьбу человечества. Господи! — думаю я тогда, какая это великая тайна! Две тысячи лет назад она мерцала так же, как мерцает теперь, когда на нее смотрю я, и на нее смотрели волхвы, как теперь смотрю я...

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародсеев,
Все елки на свете, все сны детворы...

Да, а потом, после этого пастернаковского зачина, они — Буров и Моб -- образуют род ударного блока против меня, плохо вооруженного звездной мистикой и цитатами.

— Неужели не ясно, — говорит Моб, и астральным ноткам ее голоса вторит сопенье Букова в

кресле, — неужели еще не ясно кому-нибудь, что коммунизм — это и есть прежде всего ненависть. Именно потому ведь они так гонят Христа и любовь как божественное начало!..

Слово ненависть склоняется на все лады. В приложении, разумеется, к Дине. Часом раньше ей выдан диплом об окончании специальной школы для «отпущенок», в которой их, по словам Бурова, обучают, перед тем как благословить портретом Берии («при нем изобретено») и пустить за границу. Буров излагает даже и учебный план, словно сам побывал там в завучах.

— Их учат не только языкам, но — манерам! Чашку чаю как выхлебать, грушу съесть... Тоже и как очаровывать, то есть сексу. Ваша — она как раз из хищниц. Там, дорогие мои, знают, кого за море сватать, кого дома венчать... Да разве, — перебивает он сам себя, — вам раньше такие не попадались?

— Нет, — говорю я.

— То есть — как «нет»? — подсказывает Моб, и бокал с красным вином опрокидывается на новую скатерть. Сталкиваясь руками, оба сыплют на расползающееся пятно соль.

Да, конечно, я помню два-три случая. Но что общего с «посланцами ненависти» было у этих бедных жертв любви и полицейского шантажа? Да и очищались они довольно быстро от «скверны», выражаясь языком Моб.

Главное же мучило меня от злопыхательства и просто недобросовестности: только ведь что говорилось о «двойнике» в сознании советского человека («никогда, мол, добро и зло не дрались в нем так ожесточенно, как теперь»), а сейчас шла речь уже об одноглазом злодействе.

Черт дернул меня за язык, и я сказал:

— Вы человеконенавистники! Ладно, предположим, что какой-то душе навязана щепоть зла. Но по вашей же собственной теории она этому злу сопротивляется. Какой-то, не помню, философ за полтора тысячелетия до Достоевского утверждал, что душа человеческая по природе христианка. Душа обаятельного и слабого создания — особенно.

Батюшки, какого горячего подлил в огонь! Тут пошло:

— Это ваша-то Дина — слабое создание? Да она, любима моя, коли поручат ей, гору свернет!

— А уж голову, кому понадобится, без сомнения. Не свернет — так закружит! Думаешь, если она своему Вилли прикажет взорвать здешний храм, он не сделает этого?

— Обаятельность — стимул, любима моя!

— Ненависть — сила!

— Точно! как говорят советские. Кстати: само имечко-то от греческого «сила», а «дина» в механике — единица силового измерения.

Равнодушна к нам, людям, природа и безответственна: таким, как Буров и Моб, нужно бы родиться заиками. Но — куда там!..

Я выслушиваю очередное сакраментальное резюме:

— Это — как адская машина замедленного действия, — говорит Буров, трудно и с шумом переводя дыхание (у него астма, и я часто испытываю острую к нему жалость: в нем ведь, говоря беспристрастно, не одни только доктрины и резонерство, но и вера, и жертвенность, как выражаются здешние политики). — Да-с, замедленного действия. Года два или поболее будут продолжаться обаятельные улыбки, а потом...

— Что — потом?

— Потом детонатор сработает. И если в самый критический для общего благополучия момент вспыхнет какая-нибудь особо губительная забастовка или просто резня, — мы будем знать, откуда ее надуло. Разрушение и смута, смута и разрушение — вот задание!

— Вы — два тарантула! — говорю я, вставая...

7

Из окна моей студии виден край городского парка: пруд с утками под аркадным мостом, холмистый берег, газон, скамейки... Чуть напоминает Сезанна «Мост на реке» — так же льется мглистое солнце и переплетается зелень с оранжевыми кляксами земли и блеском водного зеркала. И все — мягкими весенними лессировками... В марте усыпают еще рыжеватую траву крокусы; в апреле — желтые, барочного стиля лилии, которые здесь называют «пасхальными».

В мае флора отходит на задний план, и дорожки покрываются парочками. Я люблю записывать коротенькие романы, распускающиеся на скамьях. Язык этих моих записей, разумеется, графика. Потом, разглядывая свои наброски, я думаю о том, насколько он, мой живописный язык, богаче языка слов: попробуй я передать два-три скамеечных романа словами, — какое бы, вероятно, получилось однообразие! А тут каждая скамейка рассказывает свое. Симонид Кеосский, древнегреческий лирик, писал: «Живопись — это немая поэзия; поэзия — го-

ворящая живопись», то есть сближал эти два языка, но я в таком тождестве не уверен.

И значит: не напрасно ли взялся я за целую повесть? Когда и как возникла эта затея?

Да вот как раз и возникла в самом начале мая. Неделю, примерно, после отъезда Бурова. С ним вместе на конференцию «анти» отправилась и Моб — у нее в том городе жила подруга еще по Ленинграду, с которой ей нетерпелось свидеться. Моб уехала, взявши с меня десяток обещаний чего-то не делать и чего-то обязательно избегать, — обещаний, о которых просят и которые дают вполне механически, для заполнения прощальных пауз.

Она уехала, и я — это было в воскресенье к вечеру — как раз и сидел над записью пастелью очередного скамеечного романа. У паренька было подростковое круглое лицо с невыраженным подбородком и неуклюжие робкие руки. Девушке, которую он облапил, было тяжело и неловко. Она то выкинет наперед, то подожмет под скамью ноги в кожаных лапотках на пробковой подошве, какие здесь обыкновенно носят. В последний раз нога в лапотке дергается особенно нетерпеливо, и лапоток падает, и босая ступня сердитыми рывками шарит его на гравии. Высвободившись из объятий, девушка вытирает платком нижнюю губку, которую он облизывал, и подкидывает к глазам браслетку часов. Он ей явно уже надоел...

Мне всё никак не удавалось передать этот ее не обозначившийся еще зевок, порыв прочь. Не слушался мелок...

И вдруг телефон. Дина!

— Алло! — сказала она. — Что вы сейчас делаете? Хочу спросить: есть у вас Достоевского «Бесы»?

Вилли не мог достать в библиотеке. Что?.. Тогда я через полчаса забегу.

— Я могу принести, если хотите.

— Нет, я сама... Вилли удрал на рыбалку, и мне скучно. Если, понятное дело, вы не... А?.. Ну спасибо. И ваша сестрица... — впрочем, не хочу представляться: я знаю, что ее нет. Так пока!..

Пришла она в сарафанчике, похожая на этюд сепией — загорела: на службе вижу ее всегда в спецовке.

— Что удивительного? У нас, вы знаете, балкон на самое море и стул-лежак. Прожарилась вся насквозь.

— Скажите: писать лица — это ведь нужно всего человека разгадывать! Умеете вы? — говорит она, листая мои наброски. — Этих я бы еще теснее друг к другу прижала. А этот должен бы глядеть не таким кисляком — они все здесь вареные, тоже, должно быть, и в любви... Интересно, как вы работаете для себя. Существует оно, в самом деле, вдохновение, или это только «установка на творческий процесс»?

Вопрос о вдохновении обсуживается довольно долго.

— Будем пить чай? — спрашиваю я потом.

— Пожалуй.

— С коньяком?

Она снова кивает утвердительно, и я вижу, как от скул к вискам у нее густеет загар. Неужто права Моб, пришивая ей эту слабость?

Может быть, и права: под предлогом чая мы распиваем остававшиеся у меня полбутылки.

— Мне нравится здешний обычай чиркать друг на друга глазами, когда чокаются! — говорит она.

И — рюмка за рюмкой, со смешком, блещет на меня улыбками из иллюстрированных журналов.

Мы допиваем полбутылки почти до донышка. Виски и скулы у нее горят.

Зато никогда раньше не было у нас такого натурального разговора — без всяких подтекстов и настороженностей, так что мне иногда казалось, что сидим мы у меня на вечерней Миллионной и в окно тянет остывающими после солнечного дня торцами и Невой.

А между тем задевались и разные роковые вопросы.

О ее отношении к Западу, например, и о настроениях «там».

— Здесь все саламандры! — негодует она. — Помните «Войну с саламандрами» Чапека? Не читали? Я вам принесу обязательно, завтра же...* Разве тут люди? — Тля, протоплазма! Вместо души — реестр благополучий: машина, заграничное путешествие, дачка на взморье... Думаете, накручиваю? Да вы и сами про себя так считаете, слово даю!

— Не совсем. Прежде всего — не верю, будто там, откуда вы прибыли, личное благополучие так

*) Она действительно на другой же день принесла мне на службу книгу Чапека с закладками и подчеркнутыми красным строчками о саламандрах. Вроде: «Они взяли из человеческой цивилизации только то, что есть в ней стандартного и утилитарного, механического и прикладного... Страшнее всего, что этот восприимчивый, глуповатый и самодовольный тип цивилизованной посредственности размножился в миллионах и миллиардах одинаковых единиц».. И т.д.

уж все отрицают. Такие уж высшие себе ставят цели. Ведь вздор!

У нее была привычка отворачивать лицо, когда вы говорили что-нибудь, что предположительно могло ее смутить.

Так и сейчас: она несколько секунд смотрит в сторону, отводя ладонью пряди со щек. Потом говорит, уже с меньшим задором:

— Я наше не лакирую. Мелководье, понятное дело, есть и у нас. И скука! Бывало сама как подумая: чертить, либо даже строить — меня ведь направляли в строительный, — строить жильё, коробки. Сегодня коробки, завтра коробки. Так и проквасишь на коробках всю жизнь!.. Этот ваш, который приезжал сюда, я его «зубр» зову, порочил между прочим Николая Островского. А у него хорошее место есть в романе. О жизни...

Она чуть свела брови, припоминая, я видел, цитату, но, взглянув на меня, расслабила брови снова.

— В общем — про то, как прожить, чтобы не было тебе стыдно, — объяснила она. — Вы, верно, помните это место. Хорошо выражено!

— Выражено неоригинально. Но вам ведь главное не как, а существо?

— Именно.

— К существу я бы добавил, что решать, в чем цель жизни, чего желать, а чего стыдиться, — каждый должен самостоятельно, не из-под палки.

— Понятно, можете дальше не продолжать! Вот я для себя и решила: стыдно прокисать в монотоне. Надо не сидеть на месте, а искать, драться. Драться — самое главное. Драться и побеждать!

— Вы уверены, что обязательно будете побеждать?

— А вы считаете, что я такое уж слабое су-

щество? — спрашивает она, прищурившись совершенно так же, как это делает Моб, — женщины мастерицы перенимать друг у друга (примечательным образом она повторила сейчас не только ужимку Моб, но и слова). — Давайте, давайте прямо!..

— Совсем не слабое, но и не какой-нибудь Илья Муромец в юбке.

Некоторое время она смотрит куда-то мимо меня, и мне кажется, в повороте ее головы и плеч, в маленьких выкругившихся ноздрях я читаю вызов и даже какое-то ухарство.

— Я умею заставлять людей слушаться! — объявляет она.

— Что ж, при вашей молодости и некоторых других благополучных данных это не трудно.

— Как вам не стыдно! Я совсем другое имела в виду. Умею убеждать, внушать мысли.

— Это, конечно, уже сложнее.

— Вы не верите?

В глазах под челкой, которые теперь кажутся черными, — почти угроза. Конечно же, только коньяк мог спровоцировать весь этот пассаж.

— Вы не верите? — переспрашивает она и встает. — Хотите опыт? Вот я сейчас возьму вашу руку... Или — постойте, нет!.. — она делает несколько шагов по комнате, озираясь; потом ее силуэт возникает у нашего большго окна, как давеча силуэт Моб.

— Идите сюда! — приказывает она. — Видите там вон, на горизонте, звездочку? Между деревьями. Видите?

— Вижу, конечно. Это старая наша спутница. Моб и моя.

— Закройте теперь глаза!

Я повинуюсь. Она становится за мной и кладет

мне на плечи руки. Я чувствую сгиб ее пальца у своего подбородка и десять касаний — как десять электрических лампочек, включенных в электросеть. Электросеть — моя кожа. Щекотная зыбь течет к моему затылку и смеженным векам.

— Можете теперь смотреть.

Я открываю глаза: звезда исчезла!

— Однако! — говорю я.

— Всё! — говорит она и проводит по моим глазам прохладной ладонью. — Найдется у вас еще рюмка коньяку? Покуда нет Вилли, — я оставила ему записку, чтобы зашел за мной.

Она щурится и словно бледнеет, когда я включаю свет. Кажется, она уже жалеет о том, что устроила свой сеанс. Коньяку — на доньшке, я нацеживаю последние две полрюмки.

Но тут звонит в коридоре музыкальная дверная кукушка — тоже реквизит саламандр, не любящих треска звонков, — и вваливается Вилли.

От него пахнет солью и водорослями. Выпуклые глаза почти с испугом цепляются за пустую бутылку.

— Ди! — произносит он. — Ведь ты же мне обещала...

— А, ерунда!

— Совсем не ерунда, Ди!

— Лекцию о вреде табака пока отложим. Поймал что-нибудь?

Он смущенно пожимает плечами. Ему явно хочется присесть и поболтать, но Дина почему-то торопится.

— Представьте: за всю весну ни одной стоящей рыбёшки... Бесталанный он у меня и несмышлениш!

— говорит она и, привстав на цыпочки, ерошит ему волосы.

— Не... несмысленыш — это что?

— Ничего, проехало! Пошли до дому!

На площадке, перед тем как ступить в лифт, она оборачивается ко мне и говорит вполголоса:

— Не рассказывайте вашей сестрице, что я была у вас. Ладно?..

**
*

Я не рассказал.

Но я записал эпизод со звездой, и, как уже говорилось, с него именно и пошли мои записки. Позже, в ходе событий, этот эпизод превратится из зачина в кульминацию, когда узнает о нем Моб. Но это — в будущем...

На следующий день нагнало с моря туману и туч. Один, я плохо переносу чаек и муть за стеклом. Я позвонил Вилли и пригласил их обоих в ресторан. И просчитался: Вилли настоял на «сухом» ужине, и веселья не вышло.

В почти пустом ресторанном зале оплывшие свечи в бутылках из-под кианти расплескивали скучный свет. Я пробовал расшевелить Дину, но она откровенно зевала на мои шутки, а на Виллины уж прямо огрызалась, как хорек.

— Будьте добрее! — сказал я ей. — А то я приделаю «Рисовальщице» эти вот складки у рта и вздернутую губу — как раз как сейчас, точно вы собираетесь кого-нибудь из нас укусить, — и получится сама злость вместо очарования.

Теперь, отхлебывая какой-то сок, она не взглядывает на меня ни разу.

— Я и есть злая, — говорит она. — А вы думали?..

— Недавно я защищал вас, как говорится, с пеной у рта. Один наш общий знакомый находит в вас что-то хищное.

— Этого вашего Бурова я ненавижу!

Туман еще плотнее набился между домами, когда мы вышли. Белесовато-черное низко висело небо.

— Боюсь, что вы вчера потушили звезду навсегда, — говорю я.

— Я ничего не тушила! — отвечает она сердито. — Просто вы не смогли разглядеть. Прояснится — обратно увидите...

8

Я не рассказал Моб ничего про Дину, предвидя и без того осложнение нашей смуты.

Она вернулась с конференции «анти» вся начиненная цитатами из Бурова и бдительностью: я до полночи должен был слушать о том, как осуществляется «инфильтрация ненависти» на Запад — даты, справки, рассказы, замечания вроде: «Ведь мы этого Н. или М. встречали, ты помнишь?» В общем: они с Буровым готовят «белую книгу» с заглавием под Г. Грина — «Министерство смуты», задуманную как сопоставление: на страницах слева — образцы лжи советской печати и акций «органов», на страницах справа — факты как они на самом деле есть.

— Эффектно! — сказал я.

— Можешь не ухмыляться! Из-за таких вот, как ты, ироников, ложь и не удается потушить!

— Я вовсе без иронии. Исполать вам!

**
*

А на следующий день после приезда Моб мы получили совсем неожиданное письмо.

Из Ленинграда. Со штемпелем «международное» на конверте из гадкой бумаги с лубочным рисунком: зеленый земной шар и под ним тоже зеленые собачьи головы с красными языками. Надпись: «Первые космические путешественники Белка и Стрелка».

Конверт устарелый, а письмо — от нашего старшего брата, с семьей которого через местных наших туристов мы тщетно пытались связаться («И не пишите нам писем!», о чем упоминалось выше, шло от них).

Теперь он писал нам так, будто и не было причин для почти четверти века молчания, будто эти причины отныне устранены навсегда. Да, пожалуй, это был главный мотив письма: «Время теперь другое, обстановка изменилась коренным образом. Даст Бог, мы, быть может, и свидимся»... Дальше следовал скупой перечень разных знакомых судеб.

Если бы кто-нибудь видел, как быстро на ресницах Моб высохла кроткая родственная слеза! — откуда мог он узнать наш теперешний адрес?

— Откуда мог?

— Не знаю.

— Хватит у тебя духу утверждать, что ты не отгадываешь посредника?

— Хватит, — отвечаю я.

Через какую-нибудь неделю — послание мне от Бурова. «Умоляю быть осторожнее! Какая ошибка думать, что вы не представляете для них интереса! Вы художник. Спровоцировать вас на какое-нибудь в пользу их интервью, не скажи уж: обернуть во свояси, — означало бы уже победу. Или — нарушить ваше благополучие: вы спокойны, удобно устроились — так чтобы было вам хуже! Поверьте: примеров десятки»...

Разговор по этому случаю с Моб:

— Что тебе написал Буров? Пожалуйста, не пренебрегай его советами. Он тебя любит.

— Вряд ли. Разве что рикошетом.

Она краснеет — очень непривычно видеть смущение на лице Моб.

Ей самой Буров писал в это время по письму в неделю. Его роман я так и представлял себе всегда, как роман в письмах, с доктринами вместо пылких слов. Очень надеюсь, что когда-нибудь это Моб надоест: слышал где-то об одном резонере, который чуть не год слал своей невесте письма с наставлениями — и она вышла замуж за почтальона.

**

*

Нашу с Моб междуусобицу письма Бурова подогревали. Но и то сказать: Немезида была не на моей стороне.

Месяц спустя после ленинградского письма — новое событие (и поднимай выше!): появился у нас живой ленинградец, профессор, член какой-то науч-

ной делегации на здешний — не помню, по какому поводу — съезд.

Он привез нам от той же родни посылку: старый альбом с квелыми семейными фотографиями, тетрадь моих детских рисунков и отечественные брошки-сережки для Моб.

Позвонил по телефону и просил встретиться у нас, но Моб отказалась наотрез, и мы с ним часа полтора пили пиво в привокзальном ресторанчике.

Был это старичок, довольно бесцветный и будто чем-то напуганный — всё извинялся. Ждал, может быть, что стану расспрашивать о неподходящем. Но я страшных вопросов не задавал, и он оживился, сообщил, какие бойкие связи сложились теперь между советскими учеными и здешней наукой; потом, озиравшись, рассказал даже крамольный один анекдот.

А когда я готовился уж прощаться, вырос вдруг возле нашего столика атлетического склада добрый молодец с плащом и фетровой шляпой наперевес.

Профессор округлым в мою сторону жестом представил его: «Коллега!» и услужливо пододвинул стул.

— Спасибо, — сказал добрый молодец. — Спешу! Хотел только узнать у нашего земляка: как, в родной Питер не собираетесь? Сейчас у нас, как, может, слышали, всё иначе. Задумаете воротиться — работа при Академии вам обеспечена. И квартира, само собой...

— Такая? — спросил я, сложивши решеточкой четыре пальца (единственная за последнее время моя реплика, получившая одобрение Моб). — И скажите, пожалуйста, сколько вам лет?

— Двадцать восемь...

— Вот было б мне двадцать восемь, пожалуй и возвратился бы. Пять бы лет отсидел, а там глядишь и вправду сделался бы академиком. Но мне пятьдесят и лишней пятилетки у меня нету.

— Вы, я вижу, шутник! — не без шарма осклабился добрый молодец. — Но насчет решетки вы зря... Однако — должен спешить! Жаль, не могу пивка с вами выпить. Всего!..

Профессор после его ухода поуж окончатель-но, долго перебирал незнакомую валюту и ронял на пол кроны, расплачиваясь, и под конец неловко спросил, много ли в нашем городке русских.

Я назвал двух старичков — любителей музыки и, помедлив, Дину — при этом на лице его смущенно зашевелились морщины, как пенка на молоке.

Впрочем, может быть, мне только так показалось...

9

Я работал тогда над большой керамо-мозаикой, заказанной мне конторой городского бассейна. Она изображала прыжок с вышки и мучила меня решением отражений и кругов на воде: стилизованные, они как бы теряли движение.

Помогала мне Дина — позировала дважды: раз в зале бассейна и раз у себя, где по этому случаю всё поставлено было вверх дном.

Рабочую силу представляли Вилли и Поликарп.

О человеке с этим необычным именем тотчас же и скажу, потому что не вижу, в какое другое место мог бы втиснуть его в своих записках; между тем,

из-за него была провозглашена Дине специальная анафема.

Поликарп, или Поли, был сын старичков-любителей музыки, лет уже под сорок, улыбочатый в общении и тихий. Он служил по бухгалтерской линии, пописывал стишки и как-то болезненно, я бы сказал, собирался жениться — на пухлых его пальцах выступал пот, когда он разговаривал с женщинами.

Моб привезла его в отпуск к родителям с конференции «анти», где Буров определил его было активистом в какой-то сектор борьбы.

В первый же вечер у нас он восторженно слушал ее импровизацию о «смысле нашей звезды», беззвучно аплодируя потными ладонями, чем и покорила ее совершенно.

На следующий день, как прежде — Бурова, она послала его ко мне в обеденный перерыв — познакомиться лично с «коммунистической инфильтрацией».

Получилось, однако, на этот раз совсем по-другому: Поли в эту инфильтрацию влип без памяти.

Станным образом я почти ничего не замечал вплоть до упомянутого сеанса у Дины, где он битый час глаз не отрывал от оранжевого купальника.

— Каждый день у нас... — кивает вслед ему Дина, когда он волочит на кухню лестницу-вышку. — Не отобьешься! Я запретила ему прикладываться к ручке, так он туфли мои из-под дивана вытащил и давай целовать. Шизик...

Она говорит это полупшепотом, с озорным блеском в глазах.

— Помогите-ка мне расстегнуть молнию! — просит она Поли немного спустя и, повернув к нему спину, прячет улыбку.

Я тоже силюсь не рассмеяться: так бестолково, словно вслепую, прыгают толстые пальцы, силясь ухватить стремечко.

Она размыкает молнию сама, чуть отвернув наперед купальник, так что на мгновение видны ее мелкие, очень круглые груди. Потом бежит в спальню, подмигнув нам с Вилли с порога. В самом деле: такого идиотского выражения, с каким смотрит Поли ей вслед, я не видывал в жизни.

А перед самым своим отъездом, у нас на ужине, Поли вдруг объявил, что недооценивал многих прошедших в Советском Союзе перемен и теперь обязательно отправится туда с экскурсией.

— Ведь вот посланница дьявола! — кипит Моб, которой, оказывается, вся эта история лучше меня известна.

«Посланница дьявола!» В устах Моб или Бурова это не просто побранка, но целая философия. Озорство Дины для них — осуществление каких-то чреватых последствиями inferнальных планов, и вот почему мне никогда не найти с ними общего языка. Если коммунизм, как они считают, «от дьявола», — как тут выступить против: у меня нет никакого опыта в борьбе с дьяволом, с которым не справляется сам Господь Бог. Их, как они называют, «доктрину борьбы» сопровождает вера в небесное вмешательство и Страшный суд, которой у меня нет. Искренне жалею, что нет, но нужна ли мистика — в драке? Я им сказал как-то, что мистикам, по-моему, нечего делать в политике — им надо идти в скиты...

**
*

Эти мои записки — не роман, но полудневник-полухроника. Сорок бочек пережитого и несколько горстей раздумий.

У кого для чужих пережитостей и раздумий есть время, тот это, может быть, и перелистнет. Нет — пусть тут же отложит в сторону. Прошу простить!..

И все-таки, когда я перечитываю записанное, мне почему-то хочется непременно придать ему некую литературную форму. Может быть — из-за приверженности к композиции в собственном моем ремесле? Приготовишками еще учили нас сочинениям по шаблону: «до события — событие — после события».

«До события»!

Как изложить это нагромождение неожиданностей, совпадений, смуты душевной? Глазами художника я вижу лицо Икара, когда начинают у него на солнце плавиться крылья; вижу геркуланумского раба, которого настигает раскаленная лава. Как автор хроники о самом себе — я не вижу собственного лица...

Я даже написал упомянутому уже выше американскому другу Сергей Сергеичу, прося ответа относительно «как» и вообще — не за зряшное ли взялся я дело?

«Вы убиваете меня, дорогой! — отвечал он. — «Как писать?» «Форма?» Чтобы понравиться критикам (потому что читателей у нас в эмиграции нет), надо писать без формы, равно как и без уловимого смысла; по возможности и без знаков препинания. В части же переводов мы отданы на суд при издательских «ридеров». Ридер — это вроде одной фрейлины, которая, говорят, испытывала достоинства возможных любовников, прежде чем допустить их до императрицы. Но фрейлина эта, по свидетель-

ству современников, знала свое дело, тогда как русские ридеры, как правило, невежды. Не знаю, зачем Вам, художнику, братья за перо? Предоставьте нашим графоманам сочинять «записки себя не нашедшего» в паузах между приступами ностальгии или запоя. В самом же крайнем случае — пишите комментарии к эпизодам, занесенным в Ваши замечательные альбомы».

Из этого злющего, как всегда у С.С., письма выудил я одно полезное слово: эпизоды. Записывать эпизоды! Тоже ведь «форма»...

Вот и запишу сейчас один-два эпизода, которые предшествовали событию, или, как я одно время называл это, катастрофе.

10

В первое, кажется, июньское воскресенье мы с Моб отправились в столицу соседнего, тоже приморского, государства: тамошний русский клуб пригласил Бурова прочесть доклад, и он прислал нам билеты.

Я бегаю от докладов на темы «анти»: фактический материал в них обычно всем известен заранее; в нефактический верят только сами докладчики и участники прений.

Но Моб настаивает, чтобы мы поехали оба, и даже соблазняет меня этим городом, который я очень люблю, и полдниками в вагоне-ресторане, которые любит сама.

Как всегда, на самый доклад мы опаздываем, попадаем только к вопросам-ответам. Увидя нас, Буров кивает какому-то юноше с постным лицом, и

тот отводит нас в первый ряд, к двум незанятым креслам.

Буров тут — как рыба в воде! В зале есть «коммуноиды», как называет их Моб; вопросы сыплются самые пестрые, но расправляется он с ними виртуозно, как фокусник, а из иных, на вид совсем пустых и нестоящих, таких вытаскивает за уши кроликов, что диву даешься. В этот день я готов был им восторгаться, как Моб.

«Свобода и необходимость», — машет он в воздухе только что прилетевшей запиской. — Что я об этом думаю? Думаю, что в современной России «свобода» — лишь условное обозначение принуждения. Необходимость же — всё то, что требуется от режима и сыска, чтобы это принуждение сохранить подольше; в интересах, разумеется, самих принуждающих. — Что? Вы сомневаетесь? А вот попробуйте опубликовать эту нашу дискуссию в таковой печати? Выйдет у вас?

Голос из зала: — Теперь там по-другому, знаем, переписываемся!

— Будто так? Мои родственники, например, из самых близких, мне писать опасаются. А кто пишет, должен мириться с тем, что их письма прочитывают. Да, и заклеивают потом откровенно и грязно, чуть что не хлебным мякишем: нет на социалистическом рынке приличного клейстера.

Тот же голос: — Режим стал гуманнее!

— Обещано, но дела не вижу. Как говорится: долго кошка умывается, а гостей всё нет... И гуманизм гуманизму рознь. Вот напомним цитатку из выступления одного поэта на писательском съезде. «В содержание гуманизма, — проповедовал он, — входят такие понятия, как любовь, радость, гор-

дость. Но некоторые товарищи забывают четвертую часть нашего гуманизма — ненависть!»

— Эта сторона, — продолжает Буров, и в рокотке его появляется металлический звон, — эта сторона и образует существо партийного гуманизма. И недаром другой советский автор сделал героя последней своей повестушки убийцей-душителем... Ненависть! — вскидывает он в воздух растопыренную пятерню, тотчас же и собирая ее в кулак, — ненависть! — вот чем расчищает себе путь воинствующий коммунизм. Где бы ни появились его эмиссары, они всегда прежде всего — разжигатели ненависти!

Он похож сейчас на готовую взорваться гранату, Буров. В зале всё замерло: «ни зашелохнет, ни прогремит»...

— Посмотри! — схватывает меня за руку Моб. — Посмотри, как слушают!

Мы одновременно оглядываемся, и я вижу через пять-шесть рядов от нас Дину. Наши глаза встречаются, и она машет мне рукой. Видит Дину и Моб, отворачивается и бледнеет.

— Неужели это ты сюда ее пригласил? — спрашивает она трагическим шепотом.

Я не отвечаю. Мне кажется, я разглядел рядом с Дининой головой улыбчатую рожу Поли.

И через пятнадцать, примерно, минут:

— Это Поли уговорил меня приехать сюда, — говорит Дина. — Я ведь теперь соломенная вдова, вы знаете? Вилли в Советском Союзе на целых два месяца.

Неожиданности и совпадения продолжаются:

Мы с Моб остаемся ночевать в этом городе, где больше сотни отелей. Но вот оказывается, что Дина и Поли выбрали себе тот же отель, что и мы.

Это значит, что вечером мы все встречаемся в отельном большом ресторане.

Ужинаем впятером. Пятый — Буров.

Он — и это тоже неожиданно — весел, острит и осыпает Дину любезностями. Моб снисходительно щурится. Я заказываю к кофе коньяк. Дина оживлена и посылает Поли, который у нее на побегушках, за какими-то особыми сигаретами. «Начала со скуки курить!» — объявляет она.

Вечер совсем было хорошо удается, но потом за соседний столик неловко пролезают две пары бицепсов с загорелыми лицами и славными ярославскими носами.

— Наши морячки! — говорит Дина. — Давайте знакомиться...

Моб жалуется на усталость и уходит к себе.

Бицепсы пришвартовываются к нашему столу.

Я заказываю еще коньяку, и мы засиживаемся почти до рассвета.

**
*

Ночью мне снится ненависть в виде стаи мелких, вспотевших от злобы гадин с крысиными мордами и непередаваемо гадким шуршаньем крыльев, которыми они задевают друг дружку. Где-то посреди их шуршания стоит Буров в соломенной шляпе и с детским сачком в руках. Он размахивает сачком вправо и влево, насвистывая при этом «Чуют правду!..» из «Ивана Сусанина». Когда ему удастся словить одну из гадин, он вытряхивает ее из сачка в бидон с кипятком, а она цепляется за петли когтями и старается укусить его за ладонь...

Снится мне это несколько раз. Я слышал, что повторяющиеся кряду сны означают расстройство нервов.

Будит меня рано поутру телефонный звонок.
Моб!

Она звонит, чтобы сказать, что заказала утренний завтрак в свой номер, а после хочет сразу же на вокзал, чтобы, как она говорит, «ни с кем больше уж не встречаться».

«Ни с кем» — это, конечно, Дина.

Мы очень дружны с Моб. Я благодарен ей за разделенное одиночество, дар устраивать жизнь, почти материнскую опеку. Также и за то, что не в пример другим сестрам она не подыскивает для меня пожилых невест. Я покорно сношу зигзаги далеко не ангельского ее характера. Но эта теперешняя ее нетерпимость и подозрительность очень мне в тягость.

— У меня сегодня отпуск, — говорю я, — к чему пороть горячку с отъездом?

— Я уже объяснила, к чему. Тебя интересует ее общество, меня — нет.

— В обществе Дины я почти каждый день, она моя сослуживица.

— Речь идет о всей вчерашней компании в целом. Уверена, что вы договорились о новой встрече.

— Никто ни о чем не договаривался.

— Мы можем пойти на взморье поплавать, — сдается она. — И тогда уж домой. Второй завтрак будет уже в поезде...

**
*

И часа через два мы уже у пляжа. Или у пляжей — их тут несколько вдоль набережной, уставленной каштанами и запаркованными машинами, друг к дружке впритык. Пахнет разогретым лаком, рыбой и подсыхающим тончайшим песком, похожим — цветом — на волосы здешних женщин.

Мы спускаемся к ближайшей кассе и берем себе две кабинки.

Переодевшись, идем по удивительному песку к вышке для прыганья, спорту Моб.

Подходя, еще издали различаем знакомый оранжевый купальник в кольце прочей купальной пестряди и загорелых тел.

На голове у Дины — веночек из каких-то уже пожухлых на солнце водорослей.

В первый раз, кажется, я вижу, что она смущена, — может быть, потому, что не знает местного языка. Переводчиком служит Поли, у которого в руке ее пляжная сумка, полотенце и банка с кремом для или против загара.

Поли — куда ни шло; но тут же рядом и Буров — я мысленно заношу в блокнот его сплошную рыжеватую волосатость, пересеченную поперек необыкновенно длинными трусиками.

Выясняется:

Произошло некое импровизированное соревнование по прыжкам с вышки, и Дина вышла на первое место. Двое юнцов с оптикой — репортеры и сейчас расспрашивают ее о водном спорте на ее родине.

Как я уже сказал, она смущена. Но в зелени глаз — и это тоже для меня внове — что-то победительное; также и в поставе головы, и в том, как вздрагивают не в такт дыханию маленькие ноздри. Мне вдруг хочется написать ее такой, еще возбужден-

ной победой и часто дышащей, но уже и бессильной, как только что сработавшая пружинка.

Когда мы идем глазеть на какой-то заплыв, я говорю ей вполголоса:

— Сюжет для новой картины: юная физкультурная наядя под вышкой, победительница. Станете мне позировать?

— Шедевра у вас из меня не получится.

— Я вас не спрашиваю, получится ли шедевр, а приглашаю в натурщицы.

— Ладно, идет! — кивает она.

Я вижу, как у Моб настороженно взлетают брови.

**
*

Поднимаемся мы снова на набережную уже около полудня. Кто-то, кажется Поли, предлагает идти в зверинец — смотреть обезьян, которые здесь будут бы особенно интересны, и в тамошнем же ресторане завтракать.

Я открываю было рот, чтобы сказать, что мы сейчас уезжаем, но Буров шепчет что-то на ухо Моб, и та неожиданно соглашается.

Зоопарки, на мой взгляд, — мерзость, как всякое продуманное насилие над живой жизнью; не терплю искусственного отбора и принудительной симметрии даже и в ботанических садах с пояснительными дощечками подле растений...

Впрочем в тот день, бродя по дорожкам, я вижу перед собой только картину, которую напишу. Нет, конечно, «Победительницу» нельзя посадить подле вышки, это — для «Огонька». Я вижу ее на зелено-

ватом кафеле бассейна. Барьер, на котором она сидит, идет спиралью вверх. Непременно спиралью: спираль должна быть душой всей композиции. Невидимо, но ощутимо (как — это я должен еще решить) нижутся на эту спираль кольца и круги на воде, сплюсненные, пересекающиеся, рваные, взлетающие к самому небу, голубые, оранжевые и фиолетовые... Всё это — в тоже незримом кружении, словно взбитом гигантской мешалкой. И посреди этого кружения — счастливый и победительный покой маленького, хрупкого тела.

— Господи, совершенно ведь человек!

Возглас принадлежит Поли. Он, как какой-то, не помню, чеховский персонаж, всегда произносит такого рода банальности. Мы стоим перед клеткой шимпанзе. Огромная обезьяна недвижно, как изваяние, сидит на цементном облупившемся блоке, из которого сквозит ржавый железный каркас. В глазах у нее ностальгия, в легких, вероятно, чахотка, во всей позе — отчетливо, по-человечьи выраженная безнадежность и боль.

— М-да-с... действительно, человекоподобие, — говорит Буров. — И такое, что начинаешь думать: почему никто не освобождает обезьян от неравенства и эксплуатации? Я слышал, между прочим, где-то пытались — и не без успеха — посадить шимпанзе на трактор. Интересно, выбрали бы обезьяны компартию для защиты своих интересов? А? Плакат: «Руки прочь от обезьяньего племени!» был бы очень эффектен...

Он как-то необычно возбужден, Буров, и немного мне в тягость. От обезьян и до такси, в котором мы с Моб поедem на вокзал, держит меня под руку, чего я не терплю.

— Орешек этот я раскушу, будьте покойны!

— подмигивает он в сторону Дины, которая идет впереди.

Потом долго и нудно распространяется о про-
исках отечественной разведки, до которых мне дела
нет.

— На то она и разведка. Отчего бы ей работать
хуже разведок западных? — спрашиваю я — и он
смотрит на меня почти что с испугом.

— Вы странный человек... — говорит он. И не-
много погодя, вытаскивая из кармана сложенный
вчетверо листок папиросной бумаги:

— Дал мне один из наших вчерашних мичманов.
Говорит: ходит в списках у них, в самиздате. Будто
сам автор «Бабьего Яра» и написал... И бывайте
здоровы, завтра утром лечу!

Я мельком взглянул на заглавие: «Продолжение
темы» и сунул листок в карман.

11

Я сунул листок в карман и вспомнил о нем толь-
ко наутро, на службе.

Едва вытянул и развернул прочитать, вошла
Дина.

— Буров звонил, прощался. Сказал, что передал
вам что-то самиздатовское, от морячка. Что?

Я протянул ей листок.

— Читали? Нет? Тогда прочтите мне вслух. Вслух
— до меня лучше доходит.

Я читаю, спотыкаясь сперва, а потом даже и не
без переживаний: текст нервный!

Над Бабьим Яром памятников нет...

Но нет их и в других местах заклатья,

к которым стоптан след,
к которым тропок нет,
в которых — жертвы окаянных лет —
навалом спят мои и ваши братья.

Их имена Ты, Господи, веши!
Их тьмы. И электроны не сочтут их!
Ведь в каждом городке стреноженной Руси
свои застенки были и Малюты.

Свои давали в смерть путёвки. Ярлыки
лепили замордованным, убитым:
«вредители», «враги народа», «кулаки»...
И спят они, безвестно далеки,
оболганы, замолчаны, забыты!

Чем жили? Где настигла злая быль?
В самом отчаяньи унижена, бесправна,
какая их оплакала Рахиль?
не дозвалась — какая Ярославна?

Но грозный голос проникает мглу:
«Возмездие!» «Разбейте бронь забвенья!»
В бессонницей отравленном углу
мне жуткие мерещатся виденья:
Тьма. Слякоть. Страшной памяти бочаг, —
тавро тридцать какого года?

На чьих стою костях? Не моего ль исхода
покровом мог бы быть промозглый этот мрак?
Я — каждый здесь расстрелянный «кулак»!
Я — каждый, здесь зарытый, «враг народа»!

И жалит мысль, что вместо «караул!»
я вирши складывал, ища рукоплесканья;
со страдного пути к обочине свернул;
а гневный мартиролог ждет признанья...

Стать нелегко героем в эти дни,
душой к венцу терновому пробиться,
сказать убийцам, что они — убийцы,
и жертвам — что стихом отомщены они!

Так тяжек выбор! Кровь ополоснувши с рук,
он наготове, палача наместник!

Как прежде, скалится на непокорный звук,
как прежде, тянется схватить за горло песню.

Но день придет, стозвучен и лучист,
мечтою сбывшейся о чуде,
когда навеки похоронен будет
последний на планете сталинист!

Не станет лжи в строках — недавнего оброка,
наследия недобровольных схим,
и слово жгучее пророка
нам возвратит в пустыне серафим!..

Когда я кончаю читать, Дина страдальчески
проводит по лбу забрызганной краской ладонью
— и над бровью у нее садится лиловый восклица-
тельный знак.

— Вы измазались!

— Наплевать! — говорит она. — У меня ми-
грень...

И, после довольно долгой паузы:

— При вас он дал этот стих Бурову, наш мат-
росик?

— Я ушел раньше всех, как вы помните. А разве
и не при вас?

— Я тоже не досидела до конца, пошла спать.

— А Поли?

— Что — Поли? — поднимает она одну бровь.
— Потянулся, ясное дело, за мной, поскулил под
дверью и смылся.

— А почему вас интересуют свидетели?

— Нипочему, просто так...

Позже, за завтраком, я спрашиваю ее:

— Что вы думаете о «Продолжении темы»?

— Чего тут думать особенно, вроде неплохо
написано. Но вряд ли это Женя, скорей — под него.

— Ну, а по существу?

Она долго, отвернув лицо в сторону, смотрит куда-то вдоль своего плеча. Потом говорит:

— Не знаю... Хотите со мной дружить?

— Разумеется.

— Тогда не задавайте мне таких вопросов. Ну их в болото!

12

В зеркальном простенке между двумя витринами — поношенная личность: плешивеющий лоб, две топких борозды по сторонам мясистого носа. Проходя мимо простенка, личность отворачивается, чтобы не видеть лишний раз своего отражения в зеркале.

Личность эта — я.

С литературной стороны прием не новый, но, как я уже говорил, кисть моя бойчей моего слова. Грамматическая униформа, в которую нужно его обрядить, стесняет меня.

Слово выдумал Бог, а грамматику выдумали семинаристы.

А кто выдумал старость?

Или кто выдумал забывание старости, очень русскую, кажется мне, черту?

Здесь, где живем мы с Моб, — по-иному. Здесь румянощекие старички до полночи гоняют шары в кегельбанах, рядом с грядкой пустых из-под пива бутылок. Почтенные дамы в огненного цвета шортах висят наискосок над накренившимся парусником.

Меня это удивляет и радует.

Дину удивляет и сердит.

— Самовлюбленные саламандры! — говорит она. — Рыбья кровь и вместо души — морская трава для набивки матрасов... Повесься у них на глазах — они не почешутся. Я зову их теперь «четырнадцать бутылок.» Знаете — откуда?

Я знаю, но мне хочется, чтобы она разговори-лась, и я смотрю выжидающе, не отвечая.

— Рассказали мне анекдот... Об одном молоч-нике. Разносил молоко по квартирам: поставит под дверьми бутылку — и дальше. А в одном месте не стали у него забирать бутылки; ставит одну за дру-гой — никто не дотрагивается. Так неделю, другую — тринадцать бутылок наставил! И только на че-тырнадцатой пришло ему в голову: может, что там, в квартире, случилось? Пошел к дворнику. Вместе открыли дверь: лежит хозяин — старичок один жил — мертвый, две недели как помер!..

В зеркальном простенке я вижу недобрую ее улыбку. Я провожаю ее до дому: в ту пору, после отъезда Вилли, она начала работать уже полный день, и мы кончаем вместе.

Простенок этот у нас по пути. Я, как было ска-зано, тороплюсь проскочить мимо, но Дина как раз на этом месте и замедляет шаг: ее притягивают сверкающие рядом витрины с «пушистым золотом», как выпренно назвал кто-то из очеркистов меха.

Как-то она даже просит меня зайти вместе внутрь, в роли переводчика; я захожу, и золотуш-ный приказчик вдруг оживляется и начинает та-скать ей одну за другой складчатые шубы, похожие на королевские мантии, куртки из выдры и норко-вые палантины. Щурясь, как Моб, она поворачива-ется перед трельяжем, и в зеленоватом прищуре глаз брезжит почти алчный восторг, который она старается от меня скрыть.

— Знаете, мне как-то даже чудно, что кое-что из этих диковинок могу купить. Захочу и куплю!..

К этому времени прежнее ее презрение к вещам начинает заметно улетучиваться. Переоценивала она, может быть, и другое что, более значительное, — утверждать не берусь, душевед я плохой. Малым мостиком у нас с ней были книги.

— Этот ваш Буров, фашист, в одном, может, и прав — я знаю мало. То есть мы... то есть просто я хочу знать больше того, чему нас учили. Я буду знать! Дайте мне книжек — я у вас видела — о взглядах на мир, на жизнь, понимаете?..

Из книжных ворохов, которые я ей ношу, выбирает она скупно и очень по-своему; откладывает как-то и один религиозный журнал, взятый мною у Моб. На полях пишет мелко, карандашом: «гиль», «тягомотина» или ставит одобрительные крестики, избегая высказываться. Но вот однажды, возвращая последний том Достоевского:

— Скажите, Пьер, в «Карамазовых» можно так понимать, что братья, все вместе — вроде русская наша душа? Разности: Иван — философ, Митя — страсть без рассудку, Алеша — ну это по части веры, монастырь, признаться, мне как-то дико... Затем Смердяков — самое подлое. В целом — мы, русские, ни на кого не похожие. А? Глупость, верно, сказала?

— Напротив, делает вам честь. Так именно, по моему, и было задумано. Что еще зацепило вас в этом романе?

— Еще — что Иван так мучится Богом. И, видать, Достоевский сам. И ведь не могу их объявить мракобесами, как у нас, по привычке: Бога нет, и разговор кончен... В общем в этом пункте я, кажется, начинаю загнивать. Посмотрим!..

**
*

Главное, что у меня горело тогда, — это задуманная «Победительница». Работать ее я мог только по воскресеньям.

Работал у Дины — в гостиной у них было удачное освещение.

На сеансах бывал Поли — приезжал каждую неделю, и Дине с трудом удавалось протурить его после к родителям. Этот Поли забегал также и к Моб. Она презирала его за ренегатство, но принимала. Я почти уверен, что он наушничал ей о наших сеансах — она была совершенно в курсе всего, хотя из чванства ни о чем меня не спрашивала. Переносил он, вероятно, и обратно: Дине про Моб. Но — пес с ним!

На всех сеансах торчала еще и Марта, сестра Вилли, которую Дина выписала на временное жилье, не вынося одиночества («В этой стране, да одной — тут в желтый дом попадешь, слово даю!»)

Марте около сорока. Когда мы сидим в гостиной, она ставит низкую скамеечку у самых Дининых ног и смотрит на Дину преданными глазами пуделя. Тоже и во время сеансов — тогда оттаскивает скамейку в сторону, чтобы не мешать мне. В выражении ее лица есть что-то идиотское.

Должен признаться: ни одна картина не истребляла у меня столько сил, как эта «Победительница». Уже на подступах к композиции, которая, как теперь думаю, всегда раньше прочего, раньше линий и красок, брала меня в плен. Как выразить в ней гармонию стремительности и торжествующего покая, которую я считал главной своей темой? Это

— полярности, вроде, скажем, структурного треугольника «Купальщиц» Сезанна, где всё стремится вверх, будто поддутое ветром, и стылых парабол Рублева. Мне маячила «beautiful line»* Хогарта — нечто вроде вытянутого латинского ‘S’, дающее основополагающую вертикаль, но вышку пришлось убрать за трюизм — победительность молодости, здоровья, воли и обаяния требовали другого воплощения. Вертикаль надо было вращать, чтобы получить внутреннее движение, дать жизнь фигуре. Я поднимал ее на воздух и сажал снова, одевал в разлетающиеся шелка, оставив голыми только ноги и плечи, но звучало слишком барочно, и я добавлял тела опять. Взвихренность заднего плана должна была передать то смятение, которое я угадывал в Дине, и контраст с размагниченностью момента...

Увы! Картину не дано было мне окончить. Об этом — позже.

Но некий модус я все-таки отчасти нашел. О том, как нашел, тотчас же и запишу — это был один из последних эпизодов перед катастрофой.

13

Как-то в конце июня Дина не пришла на работу.

Позвонила мне уже перед самым обеденным перерывом:

— Так утром мне нездоровилось — прямо встать не могла! Сейчас лучше... Скажите, много у вас чего делать? Срочное что?

*) «прекрасная линия» (англ.)

— Срочного ничего. А почему вы спрашиваете?

— Приходите ко мне завтракать. Если хотите, устроим потом сеанс. Я хандрю. Дура Марта бродит вокруг, как лунатик, совсем села на нервы. Мы заставим ее сготовить что-нибудь вкус... Минутку!.. Это как раз она: поинтересовалась, что значит «дура», — я сказала, что это вроде английского «dear». Так придете?..

Дома Дина всегда выглядела проще и уветливее, словно скидывала с себя невидимый какой-то мундир.

Так и теперь: она обняла меня быстрым движением за шею и вытянула из рук ящик с красками. Да, у нее в самом деле запали чуть щеки, сделав крупнее глаза, что ей шло.

— Может быть, поиграете мне сперва для вдохновения? — спросил я после завтрака, когда Марта уже пристраивала в гостиной свою скамейку. На крышке рояля набросана была целая куча нот.

Она покачала головой:

— Не могу. Начну что-нибудь грустное — и заплачу.

— Так сыграйте веселое.

— Нет, и от веселого все равно заплачу. Лучше приготовлюсь пойду.

Это был сеанс, когда я особенно мучился в поисках позы и мучил Дину.

Она курит одну сигарету за другой, кидая окурки в розовую раковину у подножья бутафорской скалы, на которой сидит, свесив голые ноги. Иногда окурочек в раковину не попадает, и Марта, подскочив со своей скамейки, поднимает его с ковра и тушит.

Постепенно воздух над нашими головами становится синим.

Марте надоедает подбирать окурки — она от-

крывает боковые створки окна и идет мыть поезде. В комнату залетает теперь легкий бриз, прохладный и солоноватый.

— Попробуйте чуть поднять плечо! — говорю я невесть в какой раз и уже не веря, что из этого может что-нибудь выйти. — Разверните его больше ко мне. Еще чуть-чуть больше. Не то, чёрт возьми!. Никак не могу схватить одну линию. Давайте отложим до другого раза.

— Если вы думаете кончить эту картину, давайте не откладывать! — говорит она и делает несколько затяжек кряду. — И если нужно вам схватить какую-то линию — хотите, скину бюстгальтер? Хотите, сниму всё? Слабó, думаете? Я вживаюсь в здешние нравы. Всё разглядывайте!.. Потому что очень скоро всё это изуродуется.

Она затягивается еще раз, глубоко, под самую диафрагму и выдыхает вместе с полотнищем дыма:

— Я беременна!

Потом бросает недокуренную сигарету мимо пельницы, на ковер.

Я пробую найти подходящие слова, но тут же снова схватываюсь за кисть: она как-то сникла, Дина, после своей неожиданной выходки, и теперь нога ее, закинутая за выступ бутафорской скалы, свешивается как раз так, как мне всё время хотелось: беспомощно и устало, с опрокинутой вниз ступней.

Я быстро набрасываю эту трогательную ступню беспомощным же, цвета снятого молока тоном, и вдруг начинаю ощущать к ней необыкновенную нежность, едва трогаю кистью.

Рядом с подлинником, на ковре, тлеет брошенная сигарета.

Потом приходят ко мне слова:

— Вы как будто отчаиваетесь? — говорю я Дине. — Не надо! У вас есть Вилли. Жизнь налажена...

— Что — Вилли? Он тыбик.

— ??

— Тыбик... Я так называю, кому говорят: «Ты бы вымыл посуду», «Ты бы сбежал за папиросами», «Ты бы пошел от меня к такой-то матери!..» Тыбик! Больше он ничего!..

— Гм... Все равно не надо отчаиваться. И не бросайте куда попало окурки. Вон ковер-то, горит!

— Наплевать! — говорит она.

Я нагибаюсь поднять окурочек и псходя целую маленькую ступню. Тут же клянц себя за эту нелепость и чувствую, как вытекает из затылка какац-то тяжесть, прижавшая его вниз. Но — черт с ним!

Входит Марта.

— Говорят, — начинает Дина после долгой паузы, в которую слышно, как за открытым окном каркают чайки, — говорят, будто в нас, русских, много грубости. Но и нежности у нас хватает. А здесь, скажу я, ни грубости нет, ни нежности. Не вытерплю я долго среди этих саламандр. Что делать, скажите?..

Она произносит это все с тем же оттенком тоски, но тут же я вижу и легкую игру красок на ее лице — что-то похожее на выражение удовлетворенности и торжества, которое то вспыхивает, то исчезает.

И вместе с этим выражением приходит вдруг так долго не дававшийся мне поворот!

Я испытываю радость кладоискателя, открывшего вход в Сезам, и, не переводя дыхания, работаю еще с полчаса.

Болтаю, вперемежку с мазками:

— Неужто у вас так и не пропадет никогда ненависть к саламандрам?

— Ненависть? Она у меня больше из теории — вроде помогает бороться и жить.

— Бороться — с кем? И что за теория? Наш Достоевский, которого вы читаете, или Толстой — оба ненависть как спутницу человека отвергали вполне... А мне показалось, что вы уже осваиваете западный дух, так что враждебности надолго не хватит.

— Думаете, через годик-другой сама сделаюсь саламандрой? Может, и так. Пока же — скатаю, верно, домой. Отдышаться!

— В Ленинград?

— Ага...

Я делаю еще два беглых мазка — и посейчас хорошо их помню.

— До следующего раза! — говорю я, не предполагая того, что эти два мазка, которые должны были оттенить торжество в зеленоватых глазах, — последние на незаконченной «Победительнице».

И когда уйду:

— А вот вас, — говорит она, положив мне на плечи руки, — вас ненавижу ни за что б не могла, даже если б велели! Хотела бы быть вашей сестренкой, вместо Моб. Ездили бы повсюду и сочиняли сюжеты для ваших этюдов и слепышей. Вы, я и тыбик...

**

Записывая теперь, уже поздним числом, наши беседы, я отбираю, разумеется — что поярче и поз-

наменательнее; но должен признаться: тем острых, расхожих у нас в зарубежье, я избегал.

— Спасибо, что не гвоздите меня политикой, — говорит она однажды за завтраком, — грехами разными и проклятиями нашей земле. Я — ее выкормыш, люблю ее без памяти и никогда ей не изменю...

И, увидя у меня на столе обличение — сенсацию читающего мира:

— В прошлом родины было много ужасного: татары, Грозный, крепостное право. Но это для всех — уже история. А культ личности — история для нас, молодежи, понимаете, Пьер? А то, что там сейчас — всё моё!

«Так уж и всё?» — спросила бы ее Моб. Но я — молчу.

— Да, всё мое, кровное. Никогда не брошу камень... Насчет недостатков — это дело другое; критика, может, сидит и во мне. Которые там живут — хочу им того же, что хотела всегда для себя.

— Именно?

— Именно — меньше сверху опеки! Но это — не с позиции чужаков!..

14

А в начале июля я получаю вызов из местной полиции для иностранцев (в связи с принятием подданства: мы с Моб уже восемь лет живем в этой стране и сдали недавно всякие копии и анкеты).

Иду с предчувствием какой-нибудь неприятности. Вот почему:

Неделю тому назад Моб, возвратившись от ста-

ричков, родителей Поли, принесла сплетню: кто-то, где-то, кому-то рассказывал, будто я — не я, то есть не тот русский художник, за которого я себя выдаю, а, так сказать, самозванец, присвоивший себе чужое имя.

Дичь! но, признаться, меня потрясло. Туземцам этого не понять, ни представить, потому что не случалось такого в истории, но нам... Уехавшие из своей страны, мы для миллионов своих земляков как бы списаны в небытие. Нас можно выдать за авантюристов, преступников, стереть всякую память о нас! И — нет защиты!..

— Дьяволиада! — говорит Моб. — И вспомни, что предсказывал тебе Буров. Кто-то непременно хочет нас опорочить!..

— Кто? — ломаю я голову...

Нечто сходное случается и в полицейском участке.

— Скажите: вы состояли в армии русского Квислинга, которую образовали немцы из пленных? — спрашивает чиновник.

Чиновник этот безбров и безглаз; то есть, конечно, у него есть глаза, но такие бумажные, мелкие, что их можно и не заметить. Вспоминаю об этом, потому что его безглазость особенно меня раздражила.

— У русских пленных не было Квислинга. Был один генерал, который мечтал низложить сталинизм. К его армии я не имел отношения.

— Благодарю вас, — кивает чиновник и заносит что-то в развернутое перед ним досье. — Мы, значит, получили опять неверную информацию.

— Вы получили обо мне информацию? — переспрашиваю я и пытаюсь заглянуть ему в глаза,

чтобы, может быть, задать другой, все решающий, вопрос...

Но глаз, как уже говорилось, нет, а вместо ответа он говорит еще раз: «Благодарю вас» и захлопывает папку.

Домой я иду — это уж конец дня — с ощущением человека, за которым охотятся. Я на самом деле вспоминаю буровское письмо, перебирая все свои местные знакомства и встречи. Неужели правы они, Буров и Моб, и кому-то понадобилось подводить под наше бытие торпеды?..

Моб дома не оказалось, и это одно уж было совсем необычно: она пренебрегала обеденным обрядом только в экстренных случаях. На бумажке, прищипленной к двери изнутри, стояло: «Я уехала в К., вернусь поздно вечером. Разогрей себе...» и т.д.

В К. — два часа через пролив от нашего городка — жили двое ее друзей: русский священник, с которым толковали они апокалипсис, и ясновидящая-гадалка. Меня всегда удивляло, кстати сказать, как совмещала в себе Моб религиозность с языческой жадностью узнать будущее, заглянуть как бы через замочную скважину в картотеку наших земных судеб. Впрочем, Моб, умница Моб, была полна предрассудков — боялась тринадцатого числа, черных кошек, дурного глаза, верила, что можно закрестить чёрта в бутылку, любила загадывать, спрашивать вас: «В каком ухе звенит?» и огорчалась, если ответ был невпопад.

К гадалке я, вероятно, вскоре вернусь, а о священнике и на тему-около нужно сделать небольшое отступление.

Звали его отец Андрей. Вместе с Моб и Буровым он составлял поминавшуюся выше «Белую книгу» с разными примерами советской лжи; книга уже

набиралась, и они, кажется, ждали гранки, так что, может быть, срочная корректура и потащила Моб в К. Отец Андрей носил темную, как у местных пасторов, пару с крахмальным квадратиком воротничка под подбородком и во многих отношениях был своеобразен и блестящ — восторженность к нему Моб я почти целиком разделял.

Он бывал в гостях у нас каждый месяц и однажды зашел ко мне на работу. Тут же случилась и Дина, и я не без тайного любопытства — что из этого выйдет? — их познакомил.

Вышло неожиданное: они друг дружке понравились. Разговор, правда, состоялся немногословный:

— Так вы, говорят, недавно из Ленинграда? — спросил отец Андрей.

— Точно.

— Я тоже там родился, но увезли меня оттуда еще ребенком.

Любезная полоска зубов и:

— Выходит, мы земляки...

— Как там церкви? Много ли действующих?

— Вот не скажу, не знаю.

— Сами, верно, в церковь не заглядывали?

— Н-нет.

— Ну, приглашаю к себе, в К. Церковь у нас красивая. Предпоследний русский царь распорядился построить. Приедете — не пожалеете!

— Спасибо.

— А потом — к нам с матушкой — чай пить.

— Я приеду...

Возвращаюсь теперь к незадачливому, даже и роковому, вечеру.

Я позвонил Дине, думая поработать с картиной, отвлечься, но к телефону подошла Марта и сказала,

что приехал Поли и что они пошли в ресторан.

Мысленно я послал этого Поли подальше и потом долго перебирал наброски к «Победительнице». Найти бы такой поворот, чтобы от него по тебе трепет!.. Нет, не дается!..

Было уже около полуночи, когда в прихожей щёлкнул замок.

— Зачем мы понадобились полиции? — спрашивает Моб с порога.

Я рассказываю нехотя, понимая, что лью масло в огонь, но утаить нельзя.

— Так я и знала! — всплескивает она руками. — Одно к одному!

— Что такое?

— Утром — ты только ушел — звонок: какой-то неизвестный требует от меня, чтобы не смела тебя отговаривать от патриотического решения вернуться на родину. Да, требует и угрожает. Угрожает! — ты понимаешь?.. Но — довольно! Мое собственное решение окончательно и бесповоротно: мы едем за океан!

Только теперь бросаются мне в глаза пятна на щеках, посеревшие губы, сплетенные у подбородка кисти рук — все признаки душевного шторма Моб, который, наверное, набирал силу всю дорогу. Я не знаю, сколько в этом шторме баллов, но нужно начинать с сопротивления.

— Мы никуда не поедem, Моб, что за вздор!

— Вздор?! — восклицает она, и за драматизмом этого восклицания я предчувствую монолог в защиту ее решения, который тоже, может быть, вызревал всю дорогу.

Но сперва — несколько слов об этом «за океан».

Дело в том, что мой американский Сергей Сергеич, о котором уже упоминал не раз, плотно во-

брал в голову перетасщить нас к себе. Жил он в одном южном городе, редактировал славянский отдел местного большого журнала, и туземных связей было у него полно. В итоге крупная тамошняя силикатная фирма пригласила меня на работу. Я должен был возглавить цех разрисовок.

Предложение было интересно и щедро, но — насиженное гнездо! но — прощаться с Европой! но — палимая солнцем равнина, где расположены у них фабрики! Я отвечал, что подумаю, решив про себя, что мог бы поехать туда на время.

В этих видах мы с Моб послали свои бумаги для получения гостевых виз. Недавно пришло извещение, что визы готовы.

Возвращаюсь теперь к монологу.

— Вздор? — восклицает Моб, вскидывая подбородок. — Это вот — тоже вздор?

Она размахивает чем-то, зажатым в руке, и это что-то оказывается моими записками.

Совершенная для меня неожиданность, почти шок: как могла до ханжества щепетильная Моб рыться в моем письменном столе!

Но возмутиться я не успеваю, ни вставить слово... Особенно, до душевных целин, потрясла ее история с потушенной звездой.

— Это ведь символично! Это и есть интервенция зла! Она потушила нашу звезду... Не диво, что выбрала именно этот пример: теперь они готовы потушить все звезды неба, чтобы ярче казались уродливые свои... «Отойди от зла и сотвори благо» — вот мудрость! а ты...

Монолог длится долго, полночь. Это целая импровизация о нашем — моем и Моб — астральном пути, пересеченном ненавистью, о борьбе тьмы со

звездным любящим небом. Жаль, что не могу припомнить всего блеска его и цитат.

— «Красный дракон», — говорит Моб своим струнным голосом, и я догадываюсь, что это — из апокалипсиса, который читает она вместе с отцом Андреем, — «Красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на голове его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю»...

К концу монолог становится прозаичнее: это перечисление всех возможных «за» в пользу нашего переселения за океан: во-первых, во-вторых, в-третьих... Тут я почти уж не слушаю — мне опять, как только что, до возвращения Моб, приходят в голову кое-какие новые детали в «Победительнице» и нетерпится заново пересмотреть мои этюды.

— Мы никуда не поедем! — повторяю я и поднимаюсь, чтобы идти в студию.

И тогда происходит вдруг невероятное.

Моб плачет.

Я никогда прежде не слышал ее плача — девчонкой она, если и плакала, то всегда беззвучно, в каком-нибудь темном углу.

Сейчас она плачет в голос!

Она обхватывает обеими руками голову и вопит, как вопят в деревнях над покойником.

Мурашки бегут у меня по спине и бьет дрожь. Я беру ее за плечи и чуть что не пытаюсь зажать ей ладонью рот — мне кажется, что весь город слышит это безумное голошение.

Она стихает и вдруг прижимается к моей ладони горячей и мокрой щекой. «Мы должны... Нас погубят... Я умоляю...» — твердит она в паузах между вскриками и удушьем; я чувствую, как подкатывают и режут ей горло спазмы.

Жалость пронзает меня, жалость к единственному близкому мне на земле человеку. Смею я упираться на своем «нет»? Должен я сказать «да»?..

Всё отступает перед этими «нет» или «да»: северное ласковое взморье, камни средневековья, моя студия, моя «Победительница». Меня почти шатает, как обессиленного альпиниста на краю пропасти.

Так и припоминаю теперь, спустя несколько месяцев, это мгновенье, которое в записках я назвал «катастрофой» и увы! продолжаю называть катастрофой и до сих пор.

Мгновенье, когда я, как этот самый «бездны мрачной на краю» альпинист, теряющий под ногами опору, понимаю, что уже не могу ухватиться ни за какую соломинку.

И поняв это, в тоске и смуте душевной, говорю:
— Хорошо, мы поедем...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Небо опрокинулось нам под ноги.

Там, внизу — неисчислимая звездность: млечные пути, созвездия и планеты разной величины на черном плавучем поле. Почти мистическом — потому что начинаешь сомневаться, земля ли под тобой, и если земля, то не дракон ли, как стоит в апокалипсисе, смахнул на нее хвостом третью часть небесных светил.

Мы летим над огромным ночным городом.

Последним городом Европы: дальше совсем немного суши — и океан!

На бескровных щеках Моб рядом со мною — страдание: ее мутит, это ее первый полет, но порою я ловлю на них удовлетворенность поставившего на своем — и тогда у меня возникает неприязнь к этим самодовольным щекам, почти вражда.

Меня мутит тоже, но это муть свалившейся на голову катастрофы, ощущение выбитой не из-под одних только ног опоры, согбенности, из которой никогда не распрямиться. В голове — карусель последних встреч, разговоров, прощаний, всё — опрометью, не остановишь, чтобы как следует разглядеть.

Что нас ждет?..

Незадолго перед отъездом Моб зазвала к себе свою ясновидящую подругу, «экзистенциалистку по Ясперсу», как она говорит. Конечно, по поводу моего будущего — собственный гороскоп Моб определен, вероятно, до последнего метеорита.

— У меня, пожалуй, и нет будущего, одно прошлое! — сказал я, но ясновидящая не удостоила рас-

слышать. Потребовала мою фотографию и, сведя козырьком на надбровьях желтые кисти, усталилась на нее не дыша.

Она сверлит глазами эту сделанную для паспорта фотографию и почему-то мрачнеет — мне до сих пор стыдно за собственное мое тревожное ожидание в эту паузу.

— Эта страна... — она называет ту, куда мы сейчас летим, — не по нем. Очень нехороша для него.

— О-о! — мрачнеет Моб в свою очередь. — Моб, попробуйте прочесть что-нибудь по руке?

Подкинув к глазу маленькую в золотой оправе лупу, ясновидящая принимается рассматривать и мять бугорки на моей ладони; мне кажется, что она при этом снова начинает бледнеть.

И я вытягиваю свою руку из ее долгих пальцев...

**
*

Я попрощался с северным серым морем, которое всегда было милее мне барочного южного, как иной раз простой неузорчатый ситчик на чьих-то плечах милее вам любой трескучей парчи; побродил по переулкам старого города, слушая, как отбрасывает гулкий камень средневековья эхо моих шагов. Нет, не копил при этом никаких сантиментов, ни лирических слов, — напротив, старался уверить себя, что оставляю здесь разные ненужные впечатления и тревоги, без которых будет мне легче дожить свой век на земле.

Увы! очень уж вскоре выяснилось, что эти впечатления и тревоги я захватил с собой!

Вообще же прощания наши были скомканы. Моб настояла на том, чтобы до времени никому не

говорить об отъезде. Она по-прежнему была одержима подозрительностью и страхами, чем дальше — тем пуще, и мне пришлось уступить. Мы готовили свое переселение через океан, как готовят бегство. Только в конце июля, когда были уже и билеты на самолет, я сообщил своей фирме, что уезжаю.

Дине я позвонил несколько дней спустя. Она тяжело переносила беременность и к этому времени бросила уже ходить на работу.

— Должен оглушить вас новостью, — сказал я после обычного «Как вы?» и выслушав жалобы на мигрени. — Мы с Моб собираемся за океан.

Сказал — и в трубке у моего уха вдруг зашестело дыхание и забил пульс (вероятно, мой собственный).

— Не оглушили! — сказала трубка. — Слышала кое-что об этом, но думала, что трепня. Неужто всерьёз?

— Уж и билеты на самолет в кармане.

И тут наступает молчание.

Такое долгое, что я даже думаю, не отошла ли она от телефона. Но нет, я слышал бы шорох, она — там, на другом конце провода, но она молчит, и никогда еще не казалась мне трубка в руках таким молчаще живым существом.

— Вы слушаете? — не выдерживаю я наконец.

— Я собираюсь с мыслями... Заходите проститься, хотя до чего ж неохота мне показываться в моем теперешнем виде.

— Мы можем разговаривать через занавеску, как на католической исповеди.

— Вы... вы не оставите мне «Победительницу»? спрашивает она.

— Так ведь не кончена. Я сделаю вам с нее небольшую пастель.

— Я позвоню вам... — говорит она, и в трубке щелкает надавленный рычажок.

Она не позвонила.

А на мой звонок, уже в самый канун отъезда, чей-то невнятный голос ответил, что они с Мартой уехали к родителям Вилли, за город.

Еще прощанье: отец Андрей, который провожал нас в К. на аэродроме.

Он был на этот раз молчалив, и нудному ожиданию, когда объявят посадку, казалось, не будет конца. «А ваша юная помощница с мужем были недавно у нас!» — сказал он между прочим. Потом, благословляя Моб, хотел, видно, произнести целое напутствие, но прослезился и только махнул рукой...

**
*

И вот мы летим.

Летим и никак не можем перелететь ночь, а за нами летит и тоже не может перелететь нас рассвет.

Мы пересыпаем ее, эту бесконечную ночь, — проснувшись, я смутно вижу в окне под нами вафельный полог облаков; репродуктор объявляет промежуточную посадку.

Она длится часы: какие-то неполадки в моторах...

Я выбрасываю несколько страниц из своих заметок. Если вы не Гончаров и не Стейнбек, которого «Путешествие с Чарли» я недавно прочел, — что может быть банальнее ваших путевых впечатлений? Все любительские описания путешествий уже написаны. И все похожи одно на другое, как, скажем, толпа туристов у Колизея похожа на любую другую

толпу, глазающую на строящийся небоскреб, обезьян в клетке или просто похороны.

Впечатление от новой пристани, где приземлились, — дело другое!

2

Впечатление от новой пристани — трудноопределимый, беспокойный гул.

Я ощутил его сразу, выйдя из полусвета и полупрохлады кабины в раскаленность и блеск аэропорта.

Мир звучал здесь иначе.

Может быть, это гудело солнце?

Так мне сперва показалось, когда спускался по трапу в зной, как в бассейн, и оно тяжело рушилось на меня сверху и жгло, плаваясь потом впереди в белом камне ангаров.

На мгновенье мне сделалось почти страшно, захотелось нырнуть вниз, как с вышки, укрыться где-то на невообразимом, прохладном дне...

Гул рассыпался вскоре на части — вой сирен, удары какого-то молота, звень цикад, автомобильные гудки и выхлопы, убегающие в сторону городских небоскребов. Осталась вибрация, тревожная и глухая; осталось чувство, что тишина, которую ты вез с собой до самого таможенного дебаркадера, исчезла теперь навсегда.

Пuls этого края, в который слетели, составляют, как известно, моторы — электрические и внутреннего сгорания, газотурбинные и реактивные — мощностью во многие тысячи лошадиных сил, рвущие

на ключки само небо, не только уши своим перво-
зданным, сокрушительным ревом.

Это я знал.

Я не представлял себе только, как страшно звучит он, этот рев.

Меня всегда угнетала принудительность шумов. Например еще в детстве — заводские, неподалёку от нашего петроградского дома, гудки — те самые, которые воспевались тогда стихотворцами «Кузницы». «Отчего, — спрашивал я себя самого, — миллионный город должен терпеть по утрам пронзительные эти гудки, назначенные будить только небольшую часть горожан? И разве не было уже в ту пору достаточного количества будильников?»

.....

— Почему ты называешь наш переезд сюда катастрофой? — спрашивает Моб.

Я не мог бы ответить на этот вопрос: катастрофой я называю теперь даже и не наш переезд сюда, а то, что я после этого переезда в себе ощущаю...

**
*

По пятницам — день, который я выговорил себе для работы дома, — как раз в тот самый момент, когда я подступаю к мольберту, взрывается у меня где-то над головой и рычит пылесос, — рычит, заглатывая всю окружающую тишину и шорохи, то захлебываясь и примолкая, то стервенея вновь. Рычит ровно столько времени, сколько нужно, чтобы подавить в зародыше мой рабочий порыв, махнуть рукой на мои этюды и потянуться за книжкой.

Я сажусь в кресло с этой — непременно не новой, диккенсовского облика — книжкой и ловлю себя на том, что ищу в ней непременно какого-нибудь пропитанного тишиной пассажи: юной героини, например, с повязанными домашней косыночкой волосами и метелкой в руке; у нее милое сосредоточенное лицо; может быть, даже прикушена слегка нижняя губа — от осторожности и желания быть неслышной. Спорыми, бесшумными движениями смахивает она пыль с полок и подоконников, резьбы и фарфора, а рядом, в соседней комнате, за письменным столом — муж ее либо отец не столько слышит, сколько угадывает, как угадывают уют, беззвучные ее шаги и близость...

Наглотавшись шумов, я плохо сплю по ночам.

Вместо сонных таблеток, пробую кустарные способы — считалки, стихотворные строчки, повторяемые множество раз, но, Боже мой, как досаждают мне в этих бессонных терзаниях голоса разных новоизобретений и удобств!

Электрические часы, например.

Они висели как раз над диваном, на котором я сплю, невыразительные, как электросчетчик, щелкающая каждые не то три, не то десять минут, — не удавалось определить, вполне произвольно.

Одни щелчки походили на чью-то попытку засунуть отмычку в личину вашего дверного замка; другие напоминали треск раскальваемого ореха.

Мысленно я прицеплял им, этим модным часам, сонный такт маятника — медлительного, в торжественном, красного дерева футляре, важно раскачивающего колыбель нашего ночного покоя, или, напротив: легкомысленного маятника-торопыги под пестрой оборкой ходиков.

Я примысливал этим часам бой, тоже замкнутый

в гулкое дерево, густой и волнистый, или одетый в позеленевшую бронзу под стеклянным треснутым колпаком, — бой, похожий на капель по весенним лужицам.

Я снабжал их «кукушкой», такой мистически уютной в полночи, припоминал для них музыкальные мелодические побудки от иноземного «Мальбрука» до отечественной «Вдоль по Питерской»... — увы! в ответ на всю эту — в попытках уснуть — игру воображения сыпался со стены неунимающийся металлический щелк.

Я снимал эти нелепые часы на ночь и прислонял в угол, но должно быть от эха щелканье приобретало особую стереоскопическую полноту; пробовал притыкать их диванной подушкой, но, приглушенные, звуки начинали казаться загробными.

Я вытащил, наконец, из часов батарейку, и они остались висеть на стене пустопорожнею декорацией.

Моб я сказал, что они испортились — странным образом, она вообще не любила часов.

**
**

Кухня в нашей квартире без окон и запирающихся дверей и приходится у меня за стеной.

В том тотальном, я бы сказал, наступлении на человека машин, которое мы переживаем сейчас, холодильник — это, пожалуй, уже эмбрион мыслящего робота будущего, который перерастет и устранил, может быть, своих изобретателей: холодильник способен уже решить сам, сколько и когда ему надо силы, чтобы наделать нужное количество ледяных

кубиков или выморозить из рисовой каши лишнюю влагу.

В мою бессонницу входит этот мыслящий холодильник властно и темпераментно, — Моб уверяет, что темпераментность эта от порчи, но со дня на день откладывает позвать монтера.

Он вдруг икает, гулко и неожиданно, так что я вздрагиваю, и, икнув, заводит какое-то чмокающее ча-ча-ча, очень по-человечьи, как, скажем, отчмокивают приставшую к деснам жевательную резинку.

Меня сердит, что в этом его ча-ча-ча безвкусно мешаются ритмы, что икает он по собственному неисповедимому графику и — как раз, когда я, одурманенный сотой считалкой, как будто уже начинаю дремать. Сквозь дремоту я вздрагиваю от его иканья, и перед моими глазами оживает вдруг его белое тулово.

Оживает и приподнимается на черепашьих, в вислых морщинах, лапах; под выбухшими на месте металлических ручек надбровьями — набрякшие, страшные, как у гоголевского Вия, веки, и, кажется, вот-вот просверлят меня оттуда колючие, злые зрачки. Он начинает потом выворачиваться на меня из-за косяка, мерзко стуча по паркету когтями, и я делаю усилие, чтобы открыть глаза и убедиться, что все это мне только мерещится...

Я пробовал было поступить с ним, как с часами — выключить его механику на ночь, но он залил наутро талой водой всю кухню, и Моб заявила протест.

И вот каждую ночь, с залепленными противозвучной мастикой ушами, я стараюсь уверить себя, что больше не слышу его иканья и чавканья. Словно в отместку, он начинает вычмокивать свое ча-ча-ча на необычайно знакомый метрический лад, звуча-

щий в его устах чистой издевкой: ча-ча-ча́, ча-ча́-ча-ча, ча-ча-ча́, ча-ча́-ча...:

Ти-ши-на, — ты луч-ше-е, из то-го, что слы-шал...

3

— Почему ты называешь наш переезд сюда катастрофой? — спрашивает Моб.

Я не знаю. Но, может быть, катастрофа и есть мучительство шумом?

Радио первое время досаждало и Моб. По привычке после утреннего кофе она, как и прежде, забиралась в постель — на груди транзистор, ловящий теперь только местные волны.

Она слушает эту лапшу из рекламных выкриков и музыкальных осколков, зазубренных бесконечными повторами, и кусает губы. Пунцовые пятна выступают на ее холодных, немного надменных щеках. И когда я мелькаю в полуоткрытой двери, она прорывается:

— Господи, какой сумасшедший дом! И что за неслыханное отсутствие вкуса!

Постепенно, однако, Моб осваивается. Она любознательнее и общительнее меня; ей, как воздух, нужны новые знакомства и встречи — поделиться суждениями о «бестселлерах», которые она перелистывает, происшествиях здесь и событиях «там», за которыми она следит. Сверх того, она, кажется, собирается устроить мою выставку — уже приводила одного лохматого критика и записалась в какой-то клуб.

— Какой народ! — восклицает она. — Ни ком-

плексов, ни национального чванства, как это было в Европе. Не правда ли?

— Правда, — соглашаюсь я.

— Доброжелательный!

— Очень.

— Гуманный, терпимый!

— Да...

— Ты что, повторяешь за мной механически или не согласен? — спохватывается она вдруг. — Чудесный народ! Убеждена, что именно ему принадлежит будущее!

Нет, я согласен. Но то, что угнетает меня сейчас, — это отсутствие во мне почвы для каких бы то ни было восторгов. Я с отвращением смотрю на свои кисти. Эти записки больше притягивают меня, хотя мне трудно справляться с языком слов. Тоже и форма «повести» мне решительно не удастся: сюжет утекает, как вода из пригоршни, остаются лишь разрозненные события-пустяки, их то ли стбит припомнить, то ли нет.

Вот одно из них, которое, вероятно, способствовало умиротворенности Моб после нашего сюда прибытия: ее звезда перекочевала вместе с нами за океан.

Открытие это происходило так:

Я сидел вечером у себя, с книгой, страдая все от того же исчезновения тишины. На этот раз виновником был некто, прогуливавший под нашими окнами немецкого волка. Оба — и некто, и волк — были, видно, спортсмены и любили игру: отнимали друг у друга кость, сделанную из пластмассы. Когда кость переходила к хозяину, пёс взывал, скалясь и гадко заваливая на бок пасть. Взывал требовательно и свирепо, как, может быть, выли в подва-

лах Колизея его дикие предки, ожидая человеческих жертв. Игра была без конца...

А в паузу я слышу за стеной голос Моб. Она зовет меня взволнованно и нетерпеливо; тревожный металл звучит в ее голосе, как SOS! и я чуть не бегом спешу в гостиную.

Моб поворачивается лицом ко мне от окна, у которого стоит, и, несмотря на сумерки, я вижу румянец на ее щеках, сплетенные у подбородка кисти рук и восторженный раствор глаз — все признаки душевного шторма, на этот раз, как я догадываюсь, счастливого.

— Посмотри! — говорит она, и тянет меня к окну. — Посмотри!

Я смотрю.

За окном, на другой стороне улицы — кипарисы, окаймляющие большой школьный двор (да, вот еще о содоме, который возникает на нем в перемены, позабыл я сказать). Когда въезжали в квартиру, над кипарисами было ненастье; сейчас же небо там чисто, пирамидальные контуры чернеют на нем, как шитые гладью, заплывая в наше окно по краям, а посередке оставляя воронку неба.

Я смотрю и на этой серой с прозеленью воронке вижу розоватую небольшую звезду.

— Она опят с нами! — почти молитвенно сводя перед собою ладони, говорит Моб. — Наша спутница!

«Спутница, спутница»... Спутница Дины, по уверению Моб, — ненависть, вывезенная с невских берегов. Спутница самой Моб, напротив, — звезда-провозвестница милосердия и любви. Во всем этом я не уверен: легко запутаться в словах, толкуемых как символы.

Но мне почему-то неохота начисто отгоражи-

ваться от звездной мистики Моб. В конце концов символ звезды всегда бывал символом личных судеб и чаяний. Из всего решительно Маяковского звучит для меня единственное стихотворение, единственное и для него самого, посвященное звездности, от которой он потом так отвернулся:

Послушайте!
Ведь если звезды зажигаются,
значит — это кому-нибудь нужно?..

И дальше — о ком-то, кто —

... в метелях полуденной пыли,
врывается к Богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда!

Звезда-спутница!

Моя спутница — «Победительница».

— Что она такое, эта твоя «Победительница»? — спрашивает Моб с плохо скрываемым раздражением. — Что за внутренняя тема? направление?

Я отвечаю, что «Победительница» — это возвращение романтизма в искусство расколотого атома, которому (романтизму) суждено подобрать осколки... Отвечаю, чтобы отвязаться, потому что не чувствую за своими словами уверенности, но скорей — досаду.

«Победительницу» я хотел бы начать наново — я вижу ее во сне и, зажмурясь, в бессонницы. Но вероятно это только кажется, что вижу: с флюидами живого образа нельзя играть в жмурки, их не подменишь воображением.

Шумы продолжают терзать меня.

В воскресенье — только берусь за эти записки — вклинивается с улицы совершенно потрясающий рев.

Выхожу на балкон и заглядываю вниз: сосед сбоку занялся очередной стрижкой газона.

Газону кот начихал, ничтожный пяточок вокруг сигарообразной клумбы, но — какой вой! и какая раскачка в воздухе! Захлопываю балконную дверь, затыкаю уши кляпами из пластилина; во мне почти паника. Паника охватывает и вещи: что-то на моем столе начинает мелко и часто дрожать, как дрожат зубами со страху. Что — устанавливаю не сразу, трогая и перемещая поочередно...

Потом хожу из угла в угол, чувствуя, как улетают прочь одна за другой пробившиеся было для записи мысли и как кожа моя впитывает в себя на манер промокашки этот рёв. Какой истукан может вынести его из близости?

Снова иду на балкон. Вот он, истукан! Низкорослый, в трусах, сползающих с выпершего живота, он с трудом удерживает за оглобельки ревущее у его ног чудовище. Оно выфыркивает, пытаюсь вырваться, ядовитый дымок; серые гейзерчики пыли бьют из-под его лап кверху, в потное лицо с налипшими на лоб волосами и страдальческой ижицей рта, в углу которого мокнет сигарета.

— Покос атомного века! — говорит низкий, густой голос рядом, неожиданно, как гром с голубого неба, и над перилами смежного, впритык, балкона вырастает вдруг седоватая с чубчиком на про-

лысине голова и высокий лоб с морщинами, по которым течет скепсис.

— Сергей Сергеич!

Я совсем было пропустил то, о чем полагалось рассказать много раньше:

Сергей Сергеич, схлопотавший сюда нас с Моб, дня за два до нашего приезда улетел на север, но снял нам рядом с собой в доме узкий в два этажа кондоминиум (Моб звала это «кондоминимум» из-за чрезвычайной сплюсненности с боков).

— Только что с аэропорта! — говорит он. — Бегу к вам!..

И у нас, после приветствий и заклинаний по поводу переселения:

— Позвольте напомнить вам, благо этот троглодит с косилкой заглох на время, о былых, лирических отношениях человека с природой.

И читает по откуда ни возьмись раскрывшейся в его руках книге:

«Чем больше Левин косил, тем чаще и чаще чувствовал он минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой всё сознающее себя полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были блаженные минуты... Подрезаемая с сочным звуком ипряно пахнущая трава ложилась высокими рядами»...

— Вот ведь как было! — захлопывает Сергей Сергеич книгу. — Какая связь живого с живым, какие ощущения, звуки, запахи! Всё сожрала проклятая цивилизация.

— Будто уж проклятушая! — говорит Моб. — Сами ведь без городского комфорта жить не можете.

— Ах, оставьте!.. Комфорт — это в мелочах и за счет главного. Охладители воздуха: посидишь рядом — и готов насморк. Платки из бумаги: сморкнешься — и все сопли в ладони. А чёртовы эти моторы. Знаете ли вы, что единственный сукин сын на мотоцикле дает сто децибелов грохота, то есть чуть поменьше, чем артиллерийская батарея? Или — поезд в собее! Или поп-оркестр, если сунетесь в какой-нибудь притон! А 180 децибел при длительном вкушении вызывают уже ожоги и смерть... Нет, непременно об этой параллели с Толстым тисну стайку.

— По-русски?

— На туземном, разумеется, кто по-русски читает?

— Ну, я слышала, — не унимается Моб (они всегда схватываются спорить, встретившись), — что здесь печатают по-русски и читают достаточно.

— Читают, главным образом, только самих себя. А пишут действительно без удержу. Эмиграция всегда способствовала графомании. Попади сюда фонвизинский Митрофанушка из какого-нибудь нашего заштатного Кулижа, непременно писал бы тоже и назывался бы Митрофан де Простаков. Сочинял бы, я думаю, стихи «кулижской ноты», а то взялся бы и за литературную критику и писал бы, примерно, так: «Природа, как сказал Толстой, но не сказал Достоевский, не часто встречается у Гоголя, как сказал Достоевский, но не сказал Толстой»...

— Вы неисправимы! — машет рукой Моб.

Со стороны литературной рассказанного выше, вероятно, хватит, чтобы ввести в мои записки Сергей Сергеевич — это универсальное «анти», которое у него принадлежало не одной какой-либо сфере, но вездеходной, я бы сказал, философии отрицания.

В отличие от Бурова, отрицал Сергей Сергеич и какую-либо освободительную борьбу: «К чему освобождать и кого? Не верю, чтобы порядок, который существует более полувека, не был бы для данного народа закономерным и заслуженным. Перемены придут в свое время сами. Зачем торопить историю?..» и т.д.

А для зримости внешнего Сергей Сергеичева облика приведу одну из чудаческих его примет: обдумывая реплику либо наклёвывающийся монолог, он пружил кольчиком губы, натягивая барабаном одну из щек, и принимался выстукивать на ней щелчками какую-нибудь нехитрую мелодию. Чаще всего — поскольку можно было различить:

«Жил-был у бабушки серенький козлик...»

5

Дина когда-то, разглядывая мои этюды, нашла их слишком спокойными, лишенными движения. Перебираясь в эту страну неутомимой динамики, я примысливал динамику и будущим своим типажам. Но — нет! не вижу этих типажей ни в какой магический кристалл; движения нет ни во мне самом, ни в моих записках (прошу прощения у читателя) — нигде! Я много хожу по комнате, много читаю на новом мне языке, открывая в нем некий особый строй мышления, лишенный эмоциональности и экстремизма, свойственных русским. Но от этого клонит меня только в зыбь праздности, почти в обломщину.

Моб досаждают мне с прогулками. Если бы тротуары на нашей улице не были бы так узки — не шире человеческих плеч, — она бы, вероятно, про-

гуливала бы меня под руку. Теперь же она норовит отправить меня на Главную улицу за какими-нибудь пустяками или просто выкурить из дому под предлогом, например, пылесоса, режущего уже в собственной нашей квартире.

— Врачи утверждают, что людям твоего возраста необходимо двигаться на воздухе хотя бы час в день, — говорит Моб, появляясь в дверях, и я иду из дому, сдерживаясь, чтобы не выбраться. Раздражительность, которой теперь легко поддаюсь, пугает меня.

**
*

По нашей и смежным улицам, до Главной, я иду, глядя только под ноги: до чего же унылы эти дома по сторонам! Различаются они разве колюче вырезанными на дверях номерами. Клумба — парадное — три окна; три окна — парадное — клумба. Эта симметрия, подновляемая по дорожкам щебенка и выбритые газоны напоминают европейские кладбища, и я вдруг начинаю казаться сам себе мертвецом, заблудившимся в поисках собственной могильной щели...

Только перебравшись сюда, в этот край новоселов, я понял, что всегда любил старину. Раньше мне надоедали древние, в трещинах камни и «ахи» по поводу архитектурных седин — бесконечные туристские «ахи» при взгляде на разваливающиеся замки, виадуки либо мосты. Но в замшелых тех камнях жила творческая мысль строителей. На выщербленные ненадежные теперь баллюстрады опирался не один мечтательный локоть (перечитайте

сентименталистов или неоромантиков); в трещины их, вместе с плесенью и букашками, заползал не один шепот и вздох. И — чёрт возьми! кто знает, не доберутся ли до того, чтобы расшифровать эти вздохи, как расшифровывают стершуюся на пленке звукозапись, — и сколько тогда воскреснет взволнованных слов, заклинаний, проклятий, прощаний и встреч! Сам не зная того, я, может быть, и угадывал их, эти слова и вздохи, стоя на каком-нибудь ветхом мосту с надписью: «Вход на риск самих посетителей» и слыша, как журчит под ним столетье тому назад иссякнутая река...

А что угадаешь на здешней Главной улице, в наспех выведенных закромах и конторах, от которых еще несет непросохшей известкой?

«Почему ты называешь наш переезд сюда катастрофой?» — удивляется Моб.

Может быть, катастрофа и есть эти сооружения с чугунными ребрами, кое-как заляпанными в бетон?

Я поделился как-то этими размышлениями с Майком, моим шефом по службе. Милый человек! Вместо того, чтобы, может быть, обидеться, он почти с виноватым видом («Я должен был показать вам это раньше») посадил меня в свою многосестную машину и повез в ту часть города, где, по его словам, дома имели каждый свое лицо.

Майк, кажется, баптист и, говорили мне, из самых богатых здешних кругов. Как очень тут принято, он старается опекать нас с Моб, переселенцев. У него сложение боксера, такт придворного и в разговоре симпатичная медлительность. Почему-то он выбрал себе неожиданное хобби — психиатрию; стол и полки в его кабинете завалены книгами по этой отрасли.

Но вернемся к нашей поездке.

Особняки в кварталах, куда мы отправились, делались действительно зодчими, не поставщиками цемента. Очень живописно в общем архитектурном ансамбле сказались различие вкусов и впечатлений, вынесенных из заокеанских путешествий. Викторианский коттедж с пиквикской улыбкой на розоватом фасаде заслонялся флорентинской решеткой раннего Возрождения. Хозяин соседнего запечатлел в кровельных черепичных вымахах рёбра и пики вдохновивших его Альп — под крышами расписные фронтоны и над дверьми олени рога. Другой прилежный путешественник вынес с Востока вздернутые по краям плечи пагоды. Третьего прельстил скандинавский терракотовый тон с белыми наличниками и повителью. Распластавшиеся по обширнейшим бритым газонам безэтажные домики с коротышками-портниками на греческий лад Майк назвал местной архитектурой: приплюснуты они здесь в защиту от ураганов.

Не было только следов русского стиля, потому что его и не существовало в архитектуре жилья, а для изб не возить же с севера бревен!

— Конечно, — сказал Майк, — вы понимаете, что эти дома принадлежат богачам...

Я вспомнил одного ленинградского архитектора, который любил говорить: «Что, если бы социалистическая революция случилась бы у нас еще лет двести назад и отмена собственности коснулась бы и архитектуры? Какие конюшни стояли бы теперь в устье Невы вместо нашего чудесного Питера!»

Буров пишет Моб каждую неделю, и она подкла-

дывает иногда его письма мне на стол. «Мобить, пригодятся тебе для твоих записок?» — говорит она.

Я просматриваю эти письма кое-как. В них целые страницы рассуждений и афоризмы, записанные разрядкой. Буров, кажется, мечтает издать их отдельной книжкой и придумал уже и заголовок: «Мысли под Большой Медведицей». Моб рассердилась, когда я сказал, что под «Малой» было бы, пожалуй, скромнее.

Рассуждает он, главным образом — о недовольстве и протестах на Советской земле, о самих протестантах и о росте числа крестин и свадеб со священниками. Есть кое-что и о писателях (выписываю):

«Тушение гениев нигде, кажется, не осуществлялось так полно, как в советской литературе. Герои романов, например, если они не чабаны, но из интеллигентов, права «мыслить и страдать» лишены начисто, — страдания по поводу удоя молока или добычи нефти не в счет. Для них «табу» любые нематериалистические идеи, мысли — Боже сохрани! — о Небе, о правде истории, о том, что колеса ее вовсе, может быть, и не катятся в коммунизм, и так далее. Эти герои, чем дальше развивается описание, тем явственнее для читателя выглядят умственными недоносками. Возрождение критического реализма необходимо!»

Я показываю эти размышления Сергей Сергеичу на одной из посиделок Моб.

— Эмигрантам, — говорит он ворчливо на бурлящих низах своего «жили двенадцать разбойников» голоса, — эмигрантам все еще мерещится зревающий в стране бунт. Они забывают, что люди

там хотели бы жить в ногу с установившимся порядком, разве что сделать его чуть поудобнее.

— В ногу со своими угнетателями? — спрашивает Моб.

— В угнетателях ходят теперь их собственные кумовья, которых оклик, даже самый матерный, для них не так оскорбителен, как надменное «вы» барыни или какого-нибудь денежного мешка. Да и сами угнетаемые испокон веку привычны безмолвствовать. Нищая духом нация!

— Мудрейшие душеведы признавали духовное богатство русского народа, а вот Сергей Сергееч одним махом сводит его на-нет! — говорит Моб на самом высоком из ее голосовых регистров.

— Так ведь это такая мода была — народ су-салить! От жалостливости, укоров совести и французских идей. И мужик Марей, и дядя Том в сладкой хижине Бичер Стоу — чистые пряники, а вы обратитесь-ка к их потомкам! Сделаю вам уступку: столетие назад народный облик, может, и был привлекательней. А затем перескладывался, как какое-нибудь златокудрое дитяtko выкатывает вдруг с годами в золоторотца-погромщика. Не забудьте октябрьских компрачиков, которые воспитывают младенца по своему образцу. Диссиденты? Им, конечно, слава и честь. Они смывают с нас стыд покорности, но это — последние могикане нашей интеллигенции, добываемые травлей и высылкой. Террор отхватил нации голову; тулово продолжает носить себя на ногах и выкусывать блох из шерсти, но функцию головы целиком перенять не в силах. Справляется вроде бы, с грехом пополам, но преемственность мысли и слова утрачена, а с нею, пожалуй, и сама культура...

Мысль — самородок,
язык — ювелир:
нашел, обточил, оправил —
и засверкали,
как микромиры,
волшебного слова грани...

Там же сейчас слово не волшебство, а тещин язык. Творчество остановлено, откатывается назад, на десятки лет. Сонное царство без какой-нибудь спящей царевны, то есть надежды на пробуждение, вопреки мечтам вашего Бурова. Из «отображения жизни» никогда не выходило ничего подлинного. Выходило — из гиперболы, буйства творческого воображения. Возродиться должен не реализм, но романтика и мистерия...

Не помню, в этот ли, не то в другой вечер спора с Моб, Сергей Сергеич, отбарабанив на щеке своего «козлика», выстреливает еще одну тираду, которую хочу привести:

— Я ведь не оригинален в своей критике. У Блока есть в дневнике: «Русский народ блажит тупо, подловато, себе на уме... глупый, корыстный, тупой, наглый»... Я бы сказал, что одно качество Блок позабыл назвать, и, может быть, самое ведущее: зависть! На зависти выехал весь успех Октября. Были устранены все объекты этого национального недуга: богачи, аристократия, помещики, торговцы, хозяева ресторанов, отелей и прочее... Устранение объектов зависти стали называть социализмом и, хотя хлеб и приличную обувь-одежку начали выписывать из-за границы, вздохнули свободно! И самая знаменательная в советской литературе книга, которую сравню разве только с «Что делать?» Чернышевского, — это кочетовский роман «Чего же ты хочешь?» Ибо чего в самом деле хотеть советскому обывателю,

когда всё, кроме картошки, убрано с доступных его завистливому глазу столов? Он, этот обыватель, продолжает конечно завидовать — соседу, у которого лучше квартира, сослуживцу с секретаршею посмазливей, но этого рода зависть ни в какую идеологию не обуешь и под «передовое учение» не подведешь. Она к тому же легко заливается водкой...

Невелик росточком, обтекаемой формы, с распушившимся на пролысине чубчиком и фыркающей трубкой, Сергей Сергеич, говоря это, маячит из угла в угол гостиной, похожий на пиш-машинную каретку, печатающую с каждым мелким шажком — слово, а пунктиром — паузы.

В одну из таких пауз он забегаёт по инерции на ступеньки, ведущие в мою студию, и ему виден угол «Победительницы» на мольберте.

— Это «Победительница», «прекрасная дама» моего брата! — говорит Моб и тут же принимается объяснять замысел и творческую фактуру картины, — достаточно умно, чтобы запугать насмерть любого претендента на ее руку, и достаточно неловко, как только и может близкая вам женщина, — для меня.

Я пробую перекинуть разговор на эмигрантских художников, в надежде, что Сергей Сергеич, воинствующий отрицатель заслуг эмиграции, подхватит тему.

Он клюет на эту приманку: выпотрошив трубку и сыграв «козлика», начинает очередной на эмигрантов наскок:

— Какая неспособность понять новое! Нетерпимость ко всему, что не совпадает с привычными их суждениями: к словам, которых не было в лексиконе их бабушек, романам, написанным не в стиле «Княжны Джавахи». А хлестаковщина! Я накропал

большую статью «Против Ивана Александровича» — ни один журнал не решился тиснуть. И стадность!..

— Это же обыватели! — возражает Моб. — Они одинаковы всюду. Что с них взять?..

7

Кажется, я болен.

Почти каждый вечер, если Моб удастся под каким-нибудь предлогом лишить меня коньяку (пью я на сон грядущий, чтобы одолеть бессоницу), нападает на меня почти отчаяние.

Непонятное — потому что не могу объяснить, откуда и почему. Опустошающее — потому что отнимает охоту делать что-нибудь либо обдумывать.

Однажды за полдником я рассказываю об этом Майку.

Он искусно прячет вдруг возгоревшийся ко мне интерес, задает — с извинениями — дюжину пестрых вопросов и потом медлительно раскуривает сигару.

— У вас депрессия... — говорит он наконец, — результат переезда через океан. Случай довольно частый. Организм перебаливает, чтобы прижиться ко всему здешнему. Лечение — хобби какое-нибудь, которым увлечься до крайности. Вам, художнику, и выдумывать нечего — этюдник и краски! Еще средство — встряхнуться и попутешествовать.

Вот уж подлинно: «чужую беду руками разведу». Кто вернет мне охоту взяться за кисти? Два месяца, вскоре после приезда, я набросал сепией наш аэровокзал, где приземлились, и Главную улицу и с тех

пор не сделал ни одного мазка. Кстати: листки сепией я послал Дине с мужем. Ответа покуда нет... Путешествовать? На что и как? Сбережений у нас с Моб не водится, об отпуске думать рано. Совет пустой и по самому больному месту: мысленно я и без того за тридевять земель отсюда, в полете к северному своему морю.

Зажмуриваюсь и вижу вздернутый к небу алюминиевый трап, по которому поднимаюсь в кабину. Рывок, перехватывающий дыхание, вафельные простыни облаков под ногами, высотные шорохи и щелчки в ушах.

И наконец — вставший поперек в посадочном выраже голубино-серый полог пролива...

Трамплины к этому полету вполне фантастичны, вплоть до выигрыша на бегах — мечты всех неудачников.

Я богат...

В служебном моем кабинете на полках — выставка нашей продукции: пепельницы и вазы, сервизы и бюстики великих людей, копилки и полоскательницы.

Я беру в руки пожарный брандспойт.

Струя в полторы лошадиных силы рушится на всю эту массу раскрашенной пошлости — шипенье, звон, грохот!

Я смываю последние черепки и торжествую.

Потом пишу по начальству рапорт об уходе с просьбой прислать за все перебитое счет.

Потом ошеломляю телефонным звонком Моб и сажусь в такси.

— Аэропорт! — говорю я шоферу.

.....

И еще вариант полета.

Приходит он так:

Утром, на службе, я только что начинаю разбирать пачку внутренней почты (здесь любят переписываться из одного этажа в другой), как появляется у моего стола секретарша нашего коммерческого директора и просит меня к нему.

Секретарша вместо телефонного звонка — лестный жест.

Я иду по бесконечной ковровой дорожке вслед ее энергичным икрам — шагает она впереди меня с таким видом, будто ведет за собой к начальству юбилейную делегацию. Войдя в кабинет, бросается к телефонам, мигающим по обе стороны директорских локтей.

Директор же говорит следующее:

— Мы хотим передать один заказ фирме, в которой вы прежде работали, — говорит он. — Надо съездить туда и лично обсудить с ними модели. Просим вас это сделать. Что скажете?

Что я скажу? Я ошеломлен. Я говорю «да» и едва нахожу спуск из коридора на лестницу. Радость поет у меня в груди петухом.

Она не исчезает и после легкой баталии с Моб, которая хочет лететь вместе со мной, чтобы охранить меня от каких-то непонятных опасностей.

Но вот уже передо мной прошвы взлетных дорожек. Всё повторяется, как прежде, в воображении:

Круто вздыбленный алюминиевый трап, по которому поднимаюсь в кабину.

Рывок, вафельные простыни облаков под ногами, высотные в ушах щелчки и шорохи.

И, наконец, поднимающийся в посадочном узком выраже голубино-серый полог моего моря.

Чтобы быть более точным: темносерый, с белесыми прядками тумана и ожерельем фонарей у пристани. Солнце уже село...

От аэропорта — около часу поездом вдоль побережья.

В гостиницу приезжаю я слишком поздно, чтобы идти куда-нибудь либо звонить. Впуская в окно великолепный ледяной воздух (почему-то тут уже ноябрь! Странно! но я не задумываюсь) и сплю, как давно не спал...

А утром, едва рассвет, иду побродить по городу. Покуда всё еще спит, покуда безлюдье, — иллюзия, что тишина вокруг принадлежит тебе одному, упительна.

В городе каналы. Близкие теплые течения не дают им замерзнуть совсем, но местами вода уже покрыта пузырьчатым серым ледком. В полынье, рядом с фиолетовым нефтяным пятном, дремлет чайка; другая, взмахивая неожиданно огромными крыльями, балансирует вдоль ледяной кромки.

Каналы — значит и мосты; мосты — значит и ленинградские миражи. Зашел на один такой мостик и — стоп! глаза протереть: это ведь через Мойку!..

Но ведет мост на площадь; там, в глубине, под зеленую статую, заляпанную пометом, слетаются голуби. Я вхожу в узкое устье улицы, слушая, как гулкий, времен Густава Вазы, камень далеко отбрасывает эхо моих шагов. На другом конце улицы — знаменитый собор поздней готики, к которому и прислонился собственно старый город. Он заперт еще, собор, но сквозь овальную створку подваль-

ной дверцы сочится свет, и я спускаюсь вниз по каменной, полувинтом, лестнице.

Внизу — гранитные выщербленные временем гробницы, плиты с истертыми надписями; полукруглый, едва освещенный придел с чугунным распятием и брошенными у подножья сухими цветами. Тут же небольшой орган в тусклых металлических дудках, похожий на буфет красного дерева, и, как в музее, по полкам, церковные семисвечники и брадины.

Сторож у двери, я вижу, следит за мной краешком глаза: решает, верно, про себя, просто ли я турист или молящийся. Молящихся, кстати сказать, в этом краю по статистике всего пять процентов — предмет былых сокрушений Моб. Она любит повторять, что люди, сделавшие из религии музеев, сдали в камеру хранения также и души. В вопросе о бездушии «саламандр» Дина и Моб странным образом сходятся, хотя и судят с различных совсем берегов.

**
*

К полудню я уже кончаю свои занятия, контракт в кармане. Завтрак с местным начальством отнимает еще час, и теперь в моем распоряжении весь день до позднего вечера.

Возвратившись в номер, я долго сижу в нерешительности: позвонить Дине?.. Вспоминаю почему-то молчание по ту сторону провода во время нашего последнего разговора-прощанья. Лучше — встрече ее!

Она поздно встает по утрам, но во вторую половину дня наверное выйдет. Одна или, может быть,

с ребенком — я высчитал, что она должна была уже родить. Наискосок от их дома — детская площадка. На этой площадке я могу ее ждать.

Ветренно и слегка морозит. Недостаточно, как я уже говорил, чтобы заледенить каналы, но с лихвой — чтобы высушить мостовые и палый лист, который носится вдоль тротуаров с бронзовым звоном.

Площадка почти пуста. Двое близнецов-карапузов ползают по дырам и скатам детского каменного лабиринта, напоминающего новейшую скульптуру. Высокий тощий старик, похожий на Рудольфа Гесса, катает низкую колясочку с торчащим из-под укрутка зеленым помпоном.

Я сажусь подле забитого уже на зиму киоска с игрушками — так, чтобы видна была через улицу дверь над мраморной приступкой, с яркой кнопкой звонка на мраморном же косяке, и слежу за тем, как старик возит свою коляску вокруг песчаного городка. Возит как-то стремглав и безучастно, тупо глядя перед собой. Мне вдруг приходит в голову, что, может, под зеленым помпоном в коляске и нет ничего, что врачи прописали ему порцию движений на чистом воздухе, и он выдумал маскировку для вида. В первый раз за последнее время пальцы тянутся к карандашу — зачертить колоритного старикана хотя б на визитную карточку, но надо следить за дверью.

Скоро я начинаю зябнуть. Что мешает мне перейти улицу и нажать на кнопку звонка?..

И вдруг:

Дверные створки, с которых я не спускаю глаз, распахиваются. Дина осторожно перешагивает через порог. На руках у нее конверт с ребенком. Кто-то,

отсюда не видный (должно быть, Марта), закрывает за нею дверь.

Прижимая конверт к подбородку, Дина пересекает улицу. Вот она разминулась с сумасшедшим стариком. Вот идет в сторону, к дальней скамейке, на которую наплывает сейчас косячок солнца.

Она садится лицом к лучам, распахивая пальто, и я хорошо вижу ее чуть покруглевшие щеки и налившуюся под тонким свитером грудь. Она то поднимает, то отстраняет от себя сверток, теревит кружевца под маленьким капором и улыбается — у нее блестящезубая, радостная улыбка.

Ее скамья не дальше десяти шагов от моей. Чувствует она, что на нее смотрят? Если чуть повернет вправо лицо, конечно, заметит меня.

Но она — как под солнечным колпаком, и сама кажется такой же непричастной ко мне, как этот предзимний день, ветер, солнце и бронзовые сухие листья, кружащиеся около ее тупель.

Окликнуть?

Я встаю, делаю несколько шагов вдоль заколоченного киоска. Останавливаюсь. Делаю еще шаг... Сию минуту она поглядит в мою сторону...

Но — нет, она отворачивается.

Она отворачивается в сторону своего дома, и я вижу Марту, которая бежит к ней, размахивая руками, и что-то говорит захлеб, и берет из ее рук сверток с ребенком. А Дина подходит к открытому, под грибком, стенду с телефонной трубкой на штопоре провода и набирает вертушкой номер.

Странно, что я затем слышу каждое выговариваемое ею слово, хотя она говорит не громко.

Странно, но — так!

— Кто? Кто? — спрашивает она взволнованно

и называет мою фамилию. — Прилетел? Он здесь?.. Где? Я хочу его видеть!.. Почему?.. Всё равно, я хочу!.. Глупости! Я говорю со сквера, кругом нет никого, а если б и был... Что?.. Нет, это оставьте, довольно я вас слушалась... Установка? А мне наплевать!.. Ладно, что еще скажете!.. Давайте, ну, ну!..

Она долго слушает, отшвыривая подошвкой летящие ей под ноги листья, а я будто слушаю вместе с ней, гадая, кто это — ее собеседник, угадывая чужие слова, и сердце у меня отбивает дробь уже где-то под самой левой ключицей...

И тут — стук в дверь!

Моб.

Мне письмо.

Как, казалось бы, невпопад! В такую минуту!

Но Моб стучит в дверь.

И сбрасывает меня на землю с высоты моего фантастического полета.

И одновременно, вероятно, мы думаем о том, что я нездоров...

.....

Ночью я вспоминаю про письмо.

Оно от Вилли.

Он только что из своей ленинградской командировки и описывает впечатления. Благодарит за полученные рисунки. А на второй (да, именно на второй!) странице пишет, что Дина долго была в больнице после преждевременных родов (выкинула) и у нее теперь «тяжкое настроение и порывы». Надо быть Вилли, чтобы не объясниться вразумительнее! Что за «порывы»?.. Внизу, в уголке письма, ее рукой: «Привет!» Семь печатных знаков, включая восклицательный. Не щедро!

— Человечеству, чтобы победить коммунизм, не хватает любви! — говорит Моб.

Это один из вечеров ее «медитаций», и говорит она это, стоя у окна, чувствуя себя, вероятно, чем-то вроде связанного между звездой, висящей за оконным стеклом, и мной-маловеком.

Я молчу. Она, может быть, и права. Но не следует ли перестать связывать политику с верой? Ось человеческого духа (любви — в том числе) проходит, по-моему, мимо политики, которую так полно воплощает в себе коммунизм. Трагическую неспособность отвлеченного Добра что-то упорядочить в нашем мире показал еще Достоевский; странно, что Буров, знаток его, это проглядел. Моб очень под влиянием Бурова, но я не чувствую в себе никакого желания побуреть.

Хочется мне отмежеваться и от скепсиса Сергей Сергеича. Выше политики, думаю я, лежит и ось гармонических свершений — словом ли, звуком ли, красками ли, любым творческим языком, и язык этот незаглушим. Человеку творчества внятны высоко над политическими регистрами звучащие голоса, и он подключает к ним свой исповеднический голос...

Моб ждет (а может быть и не ждет) моей реплики.

Но я избегаю спора.

**
*

— Бессонница? — спрашивает Сергей Сергеич, перегибаясь через перила — разглядеть мое отнюдь не утренней свежести лицо. Мы теперь часто встречаемся по утрам на балконе. «Он тебя там совсем заговаривает!» — сокрушается Моб.

Я жалуюсь на жаркую духоту, несмотря на октябрь. — И проклятые шумы! — говорю я. — Сегодня приснилось мне, что холодильник напал на меня с томогавком и что у него выросла китайская борода.

— Дело не в шумах! Слишком враждебен этот город людям иоаннического склада. Вспомните русские наши субтропики: дворики с фонтанами, ковры, подушки, в бассейне — бутылки с красным вином и нарзаном; четырехчасовой в конторах обеденный перерыв. А тут не до созерцательности, тут прометеевцы, тут миллионы двуногих органических радиопередатчиков, с которых посылается суэта, вожделение, алчность и истерия. И всё — волнами в воздухе, и всем этим дышим, и всё отливается в нас тревогой и безнадежностью. Блажен, у кого душевные приемники отключены на прием, кто этих скрытых передач не ощущает. Горе чутким!

И выжав на перилах три локтевых рывка (зарядка):

Приезжать сюда надо еще безусым юнцом. Тогда есть шанс освоить всю эту безвкусицу — поп-арт, битлзов, рекламные фейерверки и выверты в угоду потребителю-пошляку.

Пошлость у Сергей Сергеича — из излюбленных тем. Он считает, что конец ей наступит, когда начнет складываться новая аристократия — аристократия духа, как он говорит. Покуда же царствует заказ человека толпы, бездарного и тупого, управляемого в своих вкусах телевизорами.

— Телевидение сожрет и книгу, увидите! Роман какой-нибудь будет представлять собой моток пленки толщиной в палец и проигрываться по мере надобности. Лоскутками, понятно. Скажем, «Анна Каренина» — скачки, пара любовных сцен с Вронским, железная дорога и смерть. Ну и, конечно, болтун с комментариями. Да-с! Книга, как мы ее теперь понимаем, останется разве что для слепых, поскольку будет напечатана пупырчатыми буквами, читаемыми ощупкой...

— Как ваши записки? — спрашивает он в заключение. — Надеюсь, берете быка за рога, не распыляетесь по закоулочкам главной темы?

— Что, по-вашему, бык, то есть главная тема?

— Ну, конечно же, борьба подлости с остатками благородства в человеческом сознании; растления — с инерцией созидания; женственности — с распутством эмансипации, которую мы же для баб выдумали и ради которой они рвутся теперь в пожарные и попы. И, разумеется, наше кондовое эмигрантское: куда движется Великая Русь — к возрождению духа или в дальнейшее безблагодатное ничто?

— Насчитали порядком! Боюсь, выйдут у меня как раз одни закоулочки...

**

Оазисы вздорных снов среди бессонницы:

Колючая проволока на речном берегу. Лагерь, которого я вовне. Я — рядом. Я будто бы приглашен сделать несколько зарисовок этого недавно разворошенного берега с выбухшим зачином моста впереди. Осень. Вислые тучи. Я один, и будто у меня

вместо мольберта магнитофон: уставясь за проволоку, я записываю на ленту то, что там происходит.

А происходит будто бы:

Сотня примерно зеков вполуповалку дымят на раскопыченной, разъезженной колеями черной земле. Черны и их заволосатившиеся лица, руки, лохмотья, опорки. Кто-то румяный, начальствующий, только что кончил объявлять им, видимо, нечто торжественное, амнистию, может быть! Кончив, приказывает:

— Даешь мировой наш... Интернационал!

Начинают жидко, в полдюжины выстуженных глоток, едва перекидывая за верхние колючки голоса.

— Все поют! Встать! — кричит румяный и прикладывает ладонь к козырьку.

Заклейменные проклятьем поднимаются нехотя, половина остается на земле, и дальше лента моя запечатлевает нечто совершенно неожиданное:

О построении нового мира теми, «кто был ничем», поет только проредь; те, что остались сидеть, «дают» совсем другое, и, не веря ушам своим, различаю: они дают «чижика». И что удивительнее всего — вполне в такт и в тон заказанному «мировому», образуя как бы его структурный костяк, ударную, басовую, гудимую опору, невероятный контрапунктовый сплав:

Мы наш, мы новый мир постро-о-им...

Чи-жнк, чи-жнк, где ты бы-ы-л...

И я вдруг — во сне — вспоминаю нечто взаправдашнее, давнопршедшее... Подвал одного бесконечно знакомого дома на Миллионной, куда переселили из бельэтажа одну бесконечно знакомую се-

мью. Я почти мальчишка, но хожу в «художниках» и вешаю в большой комнате над роялем роскошное на полупростыне панно с надписью: «Подвал восходящего солнца».

И дальше — вечера, встречи, звуки, лица под этим панно; и одно из них, со звуками связанное, — Р., композитор, еще начинающий, но уже порядком известный на берегах Невы; его темные, грустные глаза, коричневый, крупной шотландской вязки свитер, ну и, конечно, его импровизации были пронзительным моим увлечением. В перерывах между этими импровизациями, спасительной ради страховки, он, темнея лицом, проигрывал «Интернационал». «Послушайте, — спросил однажды меня, — вы ведь «чижика» можете? Вот тут, пожалуйста: ми-до, ми-до, фа-ми-ре»... Мы начали, и я устанавливаю потрясенно, как дружно и ловко сливаются обе темы, как просто, где следовало, склоняется уже слегка подвыпивший «чижик» к минору и потом перескакивает снова на «ми-до-фа»... У Достоевского было сходное в «Бесах» — о «Марсельезе» и «Mein lieber Augustin» в исполнении пошляка Лямшина, но у нас с Р. получалось, кажется, не менее импозантно. Он наддает и наддает левой, а правой рассыпается и забегает в мою октаву, чередуя лады. «Чижик» крепчает, «чижик» выжимает педаль, «чижик» вырастает в африканского страуса, мускулистым, рубленным шагом рушит и растаптывает супротивную мелодию... Финал! Вокруг — затаившая дыхание тишина. Страхи! И не зря: эту свою композицию Р. сыграл нам только два раза. В третий, говорят, играл уже в компании следователей. Его жутко били, силой усаживали за рояль повторить крамолу и били опять. Жене его вернули коричневый свитер, и ни листика нот!

Рассвета в «Подвале восходящего солнца» не состоялось...

В магнитофоне моем красная стрелка записи дрожит и скачет. Гуд нижних, сидящих, рвет теперь мировой гимн на клочки. Обхватив исподу под коленями ноги, раскачиваясь вправо и влево, они оттопатывают сокрушительный чижиковый такт. Басовые упоры выдают своё «на-гора», глотки остервенело ревут:

Чиж-жик, чиж-жик, где ты бы-ы-л?..

— Отставить, бляди! — кричит начальствующий.

**
*

И еще:

Длинная шеренга друзей и близких, которых уже нет, — погибших в войну или замученных.

Шеренга — по росту, и я мысленно примериваюсь: куда самому?

Парад усопших!

И будто мне велено его принимать.

Потом приезжает гигантский экскаватор с красными звездами на боках и начинает рыть.

— Что это будет? — спрашиваю у негра, который им управляет.

— Братская могила! — отвечает он, жуя резинку.

— Разойдись! — команду я — и усопшие исчезают.

Экскаватор выбрасывает вверх стальную лапу и ползет на меня.

Я кричу...

После я занят памятником на братскую могилу.

Памятник изображает «Победительницу». Я леплю модель из какой-то удивительно податливой глины, и испытываю наслаждение, когда она послушно укладывается под моими пальцами в почти музыкальные складки и выпуклости. Модель все увеличивается по ходу работы — и вот я делаю статую уже в натуральный рост, сидящую на скалистом цоколе, как Лорелея. Потом долго и мучительно бьюсь над одним поворотом шеи и плеч, отраженным во всей композиции. Потом вдруг чего-то неожиданно и потрясенно пугаюсь и просыпаюсь в испарине.

А после завтрака (это уже наяву) иду в мастерскую и набираю себе верхом корзину массы, из которой у нас проектируются новые модели-слепыши. Не отвечаю на вопрос лаборантки, зачем мне это понадобилось: становится не по себе от мысли, что кто-то будет ждать от меня удач...

Проклятая масса сопротивляется моим обжати-ям, как булыжник. Я пытаюсь сделать ее эластичнее с помощью специального растворителя — перемазываюсь сам и забрызгиваю весь пол мерзкими, быстро засыхающими клёцками.

Не получается!

Моему импрессионизму (Боже сохрани определить так мое эпигонство при Моб!) в пластических формах не хватает выразительности.

А может быть — просто таланта? У кого-то из наших минувшего века поэтов:

Я чувствую, мой дар в поэзии погас,
И муза пламенник небесный потушила...

**
*

Аэрограмма от Дины.

Неожиданная, потому что не любила, я знаю, высказываться в письмах, а тут довольно подробно о себе. Побывала, оказывается, на родине («Всего ночь: переплыть Балтику — и мой родной Ленинград! На мосту на своем постояла — хлюпала, в Эрмитаже — тоже»). Пишет, что после того, как «едва не умерла», теперь, по совету врачей, плавает каждый день в бассейне и учится в теннис. Дальше тоже необычное:

«Интересно ли Вам узнать, что больше уже не браню эту чужую сторону нашего моря. Даже и сравниваю (торжествуй, Буров!) вполне шкурнически: действительно ведь дома, бывало, — как на вечном субботнике: столько-то накопать картошки, да гляди за напарником, чтобы не сидел дуриком... А теперь, после больницы, живу совсем паразитом. Терпима ко всему, сусальна, как Поли, и верно буду скоро лизать чьи-нибудь туфли, как он — мои. В общем — пользуюсь жизнью по своему хотенью. Единственная моя несвобода — Вилли, но тут уж кого попрекать?»

«Вот — думал я, читая, — материал для книжников, занятых типологией советских людей. Поучительно и трогательно, если по-человечески». А в постскриптуме: «Один здешний служитель культа говорит, что русская философия будто вся в эмиграции. Правда? Может, посоветуете мне или пришлете одну-две книжки (больше не осилю), а то я по этой части ни в зуб ногой...»

Моб письма этого нельзя показать: поездка в Ленинград для нее одиозна и подозрительна.

Кажется, ради меня (как «отвлечь»?) Моб затеяла салонные среды, к которым готовятся пирожки и северные мелкие, на одну ротушку, как говорила нянька моя, бутерброды.

Приходят покуда трое: Майк, Сергей Сергеич и одна девица, весьма декоративная, с улыбкой и злунного цвета парике. Она немного училась по-русски и поет под банджо металлическим голосом местные песни. Она — из клубных знакомых Моб. Назначение ее несколько загадочно, если учитывать слабую Моб к устройству браков: для кого она здесь? Не может быть, чтобы для меня. Вряд ли и для Майка — он в эти посиделки откровенно не сводит глаз с Моб. Сергей же Сергеич вообще женофоб, и когда я однажды замечаю ему, что девица с банджо, слушая собеседника, весьма женственно опускает глаза, он взрывается:

— Женственно?.. Это понятие тут давно уже архаизм! «Нет женщин, есть антимужчины» — это как раз относится к здешнему краю. Женщины здесь лишены женственности почти начисто. Это — как свечка, из которой вытянут фитиль: стеарину много, а светить нечему...

Мы оба — Моб и я — протестуем, называя с полдюжины местных красавиц. Но переговорить Сергей Сергеича невозможно, да и невыгодно: гораздо интереснее его слушать.

О девице с банджо я, кажется, больше ничего не скажу, а монологи и реплики Сергей Сергеича, ко-

торые запомнились, записать стоит. В спорах, например, с Майком о будущем страны.

— Теперешние ваши рыцари демократии, — рубит он, — стоят на голове, как клоуны в цирке. Рыцарство заставляло когда-то людей гибнуть в крестовых походах, и, хотя марксисты и подводят под эту затею интересы наживы, кровь лилась человечья и резались головы, а не купоны. А под схоластику демократии не подведешь и интересов обогащения — это просто инерция выветрившихся лозунгов, которые подкидывает вражья сила, чтобы еще больше оглупить растерявшееся человечество.

— А что растерявшемуся человечеству предлагаете вы? — спрашивает Майк невозмутимо.

— А мне предлагать нечего, потому что и без моих предложений всё рано или поздно придет к намеченному концу. Но для любителей политической суеты рекомендовал бы поправки к демократии. На очереди — лозунги, которые укрощают. Что-нибудь вроде отказа от решения вопросов большинством дураков. В отличие от вас я свято верю в неравенство!

— Вы фашист?

— Господь с вами! Я никто в смысле политической платформы. Но неужели не ясно, что здешнюю вашу демократию нужно лечить от нее же самой, иначе в один прекрасный день она рискует проснуться за колючей проволокой?..

**
*

Верный своему хобби, Майк часто приглядывается ко мне — ему кажется, что это выходит у него незаметно.

— Сколько вам лет? — спрашивает он как-то.
Я отвечаю.

— Видите ли, — говорит он, — иной раз в этом возрасте наступает «философическая депрессия», как я бы это назвал. Человек начинает ощущать, так сказать, тщету позднего существования, когда ему кажется, ни совершить чего-нибудь нового, ни воротить утраченное уже нельзя...

Кое-что он угадал. Я действительно, особенно в бессонницы, остро отущаю пустоту, которую оставляет, изживая себя, жизнь. И сам себе, изъясняясь фигурально, напоминаешь календарь, в котором все листки уже перевернуты, и обшарпаны кромки, и где-то мерещится обведенная черной рамкой заметка: «Такого-то числа тихо скончался»... Хорошо еще, если скончался, а не выбыл из мыслящих и говорящих еще до переключения в мертвые; то есть — лежишь полутрупом, и всем тяжело на тебя смотреть, и отводишь глаза от заботливых рук, подкладывающих под тебя судно...

А забывая про черную рамку, думаешь отвлеченнее, но не светлее о том, что ничего особенного в жизни не создал, никакой не достиг исключительности, но, как все, стоишь в хвосте за газетой с незначащими для тебя ни черта новостями...

— Вы, вероятно, правы, — отвечаю я.

— Вам бы передвигаться в большем радиусе, — говорит он через паузу, продолжая мысль о пользе для меня путешествий. — Вы бы купили машину. Была она у вас в Европе?

— Была, разумеется, — говорю я. — Шофер я неважный, но это — идея!

Боже, какую баталию насчет этой идеи пришлось мне выдержать с Моб! Она уверена, что кнопки и рычаги враждебны моей рассеянности и что

когда-нибудь я что-нибудь роковое в них перепутаю и сверну себе шею.

— Движение тут сумасшедшее, и это гибель для нервов! — восклицает она.

— Майк думает, что, напротив, для моих нервов это как раз хорошо.

— Он так думает? — спрашивает она, покраснев.

.....

И вот я вожу ее за продуктами в какой-то полюбившийся ей железобетонный загром, выстуженный внутри и раскаленный снаружи. Она, видимо, довольна и только, когда я еду один, умоляет «ради Бога не мчать сломя голову».

Сломаю голову я тем не менее мчу не раз, с увлечением. Охлаждает лишь то, что не удается донести ни до чего примечательного — всюду вокруг гладь и пустота с переливами из желтка в террако-ту, с подпалинами разных лошадиных мастей — гнедыми, соловыми и караковыми. По сторонам — синие-белые заправочные стоянки и автокладбища, — всё в красноватой пыли, похрустывающей на зубах.

— Я слышал, в вашем краю есть места живописнейшие, — говорю я Майку. — Но кругом нас уныло.

— Мы строим неподалеку озеро. Хотите взглянуть? — оживляется он, и в глазах у него — вдохновение прометеевского человека, творящего быт, которое очень нравится мне в здешних людях.

Мы едем взглянуть.

Совсем видимо близко от цели нас останавливает красный флаг.

Вздрагивает воздух — и впереди взлетает подорванная каменная целина.

Когда начинает садиться на нас рыжая пыль, мы трогаемся.

Котлован внушителен; кое-где, на опытных, верно, участках, уже поблескивает вода. По краям — обшлага вывернутой породы.

Я вынимаю блокнот — набросать это для Моб.

— Здесь насадим деревьев, уже больших, футов по двенадцати, — говорит Майк, поглаживая в воздухе воображаемые берега. — Там вон будет гостиница и ресторан. Дальше — раздевальные кабинки и лодочная станция. Везде цветники и газоны. Да, да! Мы строим не только озеро, вы строим пейзаж! На будущий год приедете сюда с этюдником и купаться!..

10

Моб косится на Сергей Сергеича за «наскоки на всех» и крайность суждений. Напрасно! Отчасти это у него просто рисовка, в глубине же сидит, как мне кажется, доброта и какое-то комплексное, я бы сказал, отражение смуты эмигрантского бытия. Отсюда — моя охота его представлять и цитировать.

Он приглашает как-то нас с Моб по-соседски к себе, и мы с удовольствием замечаем, что дома, в байковой полупижаме, он пушистей и мягче, гостеприимство глушит у него жажду спорить. К моему изумлению, на стенах его узкой гостиной — с полдюжины знакомых мастеров (оригиналы!), а в полукиоте, в углу — это уж к изумлению Моб — старинная Божья Матерь в темной серебряной ризе, с самоцветами по венчику.

— «Взыскание погибших», конец восемнадца-

того, — отвечает он на вопрос Моб. — Подлинник в церкви Рождества Христова, в Палатах в Москве. Захватил эту икону среди прочих, когда грабил одну ризницу.

— Хоть бы в этом случае вы не балаганили бы! — взмаливается Моб.

— А я и не балаганю ничуть. Тем более — об этой иконе. Она у меня уж больше полста лет. Война началась — расстались, я уж и жалеть позабыл, как она вдруг отыскала меня, переплыв океан. В общем, если хотите, расскажу вам ее историю.

Я записал рассказ.

КАК Я МОНАСТЫРЬ ГРАБИЛ

— Году в двадцатом жили мы с матерью в Истре, иначе Воскресенске, иначе — Новом Иерусалиме, подле самой почти монастырской стены с стреллиевой за ней ротондой. Время было голодное, мать моя ведала тамошним домом подростков, поэтому разных важных гостей из Москвы к нам направляли харчиться. И так вот уселся однажды за наш стол средних лет, в полувоенном мужчине с сонным лицом и собакой, доберман-пинчером. Сперва только жевал и глотал, без единого слова, но потом вытащил из кармана с чем-то манерку, стал проглоченное запивать и вскорости оживился. Ожившись, сказал нам, что приехал из какого-то самого высокого центра расследовать ограбление, которое произвел кто-то в монастырской опечатанной сокровищнице. А собака его — сыщик первой марки, дочь знаменитой Стрелки, — от нее ни один мошенник не улизнет... Опорожнив манерку, встал и вдруг обернулся ко мне: «Хотишь, — спросил —

пойдем со мной в монастырь на осмотр?» Было мне тогда лет двенадцать и от этой сыскной авантюры глаза у меня разгорелись — без слов схватился за шапку.

Склад сокровищ был в сводчатом подземелье, дверь кованой меди, с сургучной печатью. Сломали печать, вошли — ба! скирда целая паникадил, крестов, дароносиц, прочей церковной утвари! И такое потекло на нас золотое бурление, что глаза слепли...

Говорили тогда, будто богаче этого Никоном основанного монастыря была на Руси только Троице-Сергиевская лавра, — щедрые жертвователи задарили его совсем. Замысел был, если не ошибаюсь, создать храм совершенно наподобие Иерусалимского, но не вышло. Сад, однако, вокруг белых стен звался Гефсиманским и многие повторял достопримечательности подлинного. Нравился мне особенно камень моления о чаше, на бугре. Бегал я туда еще до катастрофы, совсем малышом. Робел монахов, черных, жилистых... Как увижу, бывало: плывет иноходью по аллее, руки кистями подложечкой, — сразу в кусты!.. Входил с богомольцами и в скит, силился всё представить, как грузный, говорят, патриарх мог протискиваться по кирпичным витушкам лестниц и уместаться на своем каменном ложе? Разве — сложившись!.. Над ложем над этим Лермонтов написал:

Оставленная пустынь предо мной
Белеется вечернею порой...

и дальше — не помню — о чем-то, что входит в грудь созерцателя, —

... чему нет слов.
Что выше теплого участия,
Святей любви, спокойней счастья...

Увы, знаете, всё в ските — и лестница, и келья, и само патриаршьё ложе были потом загажены в

самом зловонном смысле этого слова. Склонность «богоносца» к кощунству как с цепи сорвалась!.. Но я отвлекся...

Вошли мы, стало быть, в сокровищницу, и сразу ищейка засекала — подбежала к хозяину, совсем по-человечьи смотрит глазами, спрашивает: что делать дальше? — «Лазы, лазы!» — сказал он ей, или что-то в этом роде, не помню, и мне объяснил, что она весь маршрут грабителя должна вынюхать и показать, от истоков. Ну-с, истоки нашлись в соседнем подсводе: в двери пробой. И там же — навалом, до верха иконы! кубометры икон! дерево, бархат, прелая кожа, медь, золото, серебро... И он кивает мне на них, собачий начальник. «Возьми, говорит, себе на память пяток. Чего мнешься? Завтра будет сюда комитет с Троцкой, отделят, что поценнее, а прочее всё на растопку, понятно? Выбирай, сколько унесешь, куда закуриваю!»

Самокрутку он свернул, как говорится, в два счета, но если б и дольше крутил, для выбора не было у меня ни духу, ни понимания. Чуть порывшись, взял я медный один триптих — оказался Никола Зарайский с житием, шестнадцатого, нето семнадцатого века — и вот эту, «Взыскание погибших», которую видите — пленила меня, помню, светским складом письма. Ну и еще три иконы, не скажу уж теперь, каких, — «пяток» всего, как было мне сказано, но и то едва умещалось подмышкой.

Спрашиваю на обратном пути:

— А как грабитель?

— Наш будет! Больше суток ему не гулять...

Наутро дожидался его я к обеду от нетерпения сам не свой.

Он пришел, сильно запоздав, с собакой и красным в руках узелком, как я потом разглядел — из

шитого церковного узорочья. Опять молчал до подпития, а кончив, поднял узелок с полу и — бряк на стол. Развязал — был там золотой лом с самоцветами, образки-медальоны, бриллиантики, выломанные с оправой и без, несколько пригоршней жемчужин. «Стамеской выковыривал земчуг, сучий сын!» — сказал песий начальник.

— Как же вы его?..

— Очень просто. Уперся было сперва, но посулил ему амнистию — расколосся, всё выдал!

— Значит, помилуют его?

— Шлепнут, чего там!..

«Взыскание погибших» оставил я у себя, три другие иконы и складень подарил двум московским теткам, существам большой веры и бесстрашия. Они сказали: «Ах ты, грабитель!» но радовались, как дети. Хотите, расскажу и про них? У меня в заметках моих это называется: «Три мешка серебра».

ТРИ МЕШКА СЕРЕБРА

— Лет десять спустя после монастырской истории пригласили меня эти мои любимые тетки в свой домик у церкви Успенья на Могильцах — борщ есть. Кроме меня еще — древнего, высоких церковных чинов, старца со служкой.

Обе были смолянки, ученые бактериологи по специальности, сопротивлялись воинствующему безбожию с редкой отвагой. Церковь закрыли — они устроили свою, у себя на дому: хор спевался вполголоса и вполголоса же бывали службы.

А на столе подле тарелок — вологодской полу-

съеденной росписи (охрой и сусалем) деревянные ложки.

— Опрошение? — спрашиваю, или стилиа ради?

— А вот пойдём — покажем тебе этот стиль.

В узком коридорчике — три огромные, в рост человека, куля, полные в распор — я потрогал — металлическим звоном.

— Тут всё наше серебро, до последней застёжки, — сказала старшая тетка. — Выкуп антихристам.

Я понял: в те дни весь этот сектор Старой Москвы между Пречистенкой и Арбатом тайно бурлил и рыдал в ожидании судьбы Храма Христа Спасителя.

— Избегались мы, исхлопотались... И получили ответ: соберете столько-то (она назвала астрономическую цифру) пудов серебра — оставим придел вам молиться. Видишь: насобирали часть. Этот вот мешок — с Покрова Лёвшина прихода, этот — Николы Плотника, этот — от нашей церкви.

— И вы верите, что отдадите это — оставят?

— Надо верить, другого выхода нет. Тоже ведь и атеисты серебру цену знают.

— Так ведь они не главное, что атеисты, а главное — жулики! — сказала младшая тетка со вздохом.

Мне этот маленький эпизод запомнился на всю жизнь. Храм, как вы знаете, немного спустя взорвали. Покорности и безмолвия, которым сопровождался этот чудовищный акт, понять никогда не мог...

**
*

Письмо от Дины.

Среди «спасибо за книги», мелочей о себе и Вилли («опять смотался в командировку»), жалоб на ветер и серые дни, — кое-что личное, продолжающее отчасти темы наших былых разговоров, но и новое:

«Помните, вы спрашивали меня о ненависти? Ищу и не нахожу ее в себе ни на самый маленький бутерброд. Люблю хлеб насущный и, кажется, начинаю терпеть всех жующих его. Начинаю думать, что они хороши или плохи в зависимости от качеств, которые в них (с чем пирожки?) и как они к тебе относятся, а не по анкетным данным или партийности, как привыкли разбираться у нас. Пробую верить, что настоящая правда и красота в людях идет от добра, ведь и в природе хороши не землетрясения и самумы, а зеленые почки, пчела на цветке, ребенок (ох, не вышло у меня родить!) с вымазанными мёдом щеками и липкими лапками... Вот как я рассиропилась! Но не смейтесь, пожалуйста, потому что в этой моей декламации есть кое-что и от вас. «Победительница», может, и не победительница вовсе, а побежденная. Еще: очень мне вас обоих недостает»...

Я перечитывал эти строки и думал: что получилось бы, если б переложить их на язык красок? Снопообразная, вероятно, цветовая гамма, устремленная ввысь: от мрачного подступа — оранжевый взрыв, и дальше — вширь, распылом и радугой по глубочайшей синьке... В общем вздор, но точнее, чем если б попытался комментировать письмо словами.

Моб, однако, я его показал.

— Всё собиралась тебе рассказать! — оживилась она. — Отец Андрей пишет из К., что Дина бывает у него каждое через-воскресенье. Не знаю, в церкви ли, но — на дому у них с матушкой. Пишет, что дал ей прочесть нашу «Белую книгу» и — представь! эта вещь совершенно ее потрясла!

— Еще бы: такие авторы!

— Можешь оставить иронию при себе. Книга имела прекрасную прессу, ты знаешь, и сейчас переводится на три языка. Словом, отец Андрей считает, что, прочитав ее, Дина застыдилась лжи, которую ведь и сама проповедовала. Он, отец Андрей, так и выделяет слова эти разрядкой: *з а с т ы д и л а с ь л ж и !* И отсюда пошло.

— Пошло — что?

— Ну, как это назвать... ты же прекрасно знаешь, что я имею в виду. Стóбит человеку стряхнуть с себя тягу лжи, как ему открывается другой полюс притяжения... Искусственный двойник сникает, когда почует человек правду...

— Очень интересно! — говорю я.

**
*

Говорю я это с ухмылкой, привычной в наших разговорах с Моб. Но для меня самого то, что она рассказала, интересно всерьёз, как всякие поиски. А тяга Дины к отцу Андрею — конечно же, поиски. Сегодняшнее ее письмо и комментарии Моб совпали с недавним одним эпизодом. Я писал уже, что Дина брала у меня читать разные книги. Перед нашим отъездом Марта вернула мне их целую связку. Связ-

ка переплыла океан, и на днях, разбирая ее, я нашел две книжки, принадлежавшие Моб, и понес ей на полку. Одна оказалась молитвенником с листком-закладкой, исписанным зеленым крандашом, — я узнал почерк Дины: островатые, кренящиеся влево буквы. Прочитал: «Зав... (завидую ?) верующим: чудесно, я думаю, знать, что тебе можно к кому-то обратиться. Что есть, к кому обратиться, что человек, значит, никогда не один! Слов много непонятных, но, бывает, так полно всё в тебе выражают, что вроде лучше не скажешь...»

Дальше совсем неразборчиво, но в помещенном на заложенной странице 50-ом псалме Давида тем же зеленым карандашом обведены рамочкой строчки: «Не отвергни меня от лица Твоего и духом владычным укрепи мя!» А внизу закладки: «Как иногда нужно, чтобы укрепил! И, может, кто верит, выговорит — и чувствует, что уже укрепил?..»

Откуда у нее такая неожиданная душелогия молитвы?..

11

Со мной всё хуже.

Что это за недуг-невидимка, который так подчиняет себе, гвоздит непонятым беспокойством либо навязчивой мыслью, крадет сон или, страшней того, мешает его с явью, так что иногда и не различить, спишь ты или нет.

Вчера под утро я видел, как Моб в серой спальной пижаме вошла в мою комнату и закрыла окно. Под светом уличного фонаря на стене заворошилась ее тень. Она останавливается на секунду у мо-

его письменного стола, и мне приходит в голову, что ни на одном из ящичков его нет запора и что она, может быть, в них заглядывает, как было уже однажды.

Потом она спрашивает:

— Какая тема этих твоих записок?

— Болезнь одной души, — говорю я.

— Какая болезнь?

— Не знаю. Вероятно она так и называется: «не знаю какая болезнь»...

— Мобить, это смятение возраста? Но разве старость — пятьдесят лет?

— Может быть.

— Поздняя любовь?

— Это звучит пошло.

— Она на четверть века моложе тебя.

— Это ни к чему тоже.

— И она... Ты знаешь, почему мы оказались здесь?

— Спроси у своей звезды.

— Ты не догадываешься о предательстве?

— Мы все кого-нибудь предали...

Трагично — то, что я не уверен, был ли на самом деле такой разговор или только мне померещился. Но Моб я видел живую, не призрак! И я, кажется, побледнел, когда утром, за завтраком, она сказала:

— Ветер захлопнул ночью твоё окно, я слышала, как оно стукнуло.

— Это ты закрыла его?

— Как, интересно, могла я войти к тебе, если ты запираешься? — возразила она.

И правда: последнее время я запираю дверь, чтобы не вображать, что вот-вот увижу, как кто-то потихоньку отворяет её снаружи.

**
*

Пишет Вилли:

За разными «как поживаете» и пустяками — довольно тревожно о Дине, которая после неудачных родов «очень тоскует»... «Просится путешествовать. Вспомнила вас и сказала: «Возьму и поеду к ним в гости за океан. Как снег на голову». Пожалуйста, намекайте ей, что это немысленно».

Почему бы «немысленно»?

— С нее станет!.. — пожимает плечами Моб. — Что ж, если вправду тянет ее к нам, — милости просим! Только, думаю, это болтовня.

Всего вероятнее — болтовня. Но что поделаешь, если мысль об этом начинает кружить мое бедное воображение. И выкруживает, как в калейдоскопе, самые невероятные комбинации: телеграмма с самолета («Лечу к вам!»), звонок с аэродрома («Жду у главного входа. Потеряла ваш адрес»), совершенно неожиданная встреча на Главной улице...

Или: Дина у нас, в комнате для гостей, одевается к ужину. У нас «среда»: Моб хлопочет на кухне; мы — Сергей Сергеич, Майк и девица с банджо — ждем, и я соображаю, в каких выражениях ее им представить. Экстренно заказано и только что принесли пианино. Дина долго играет, и щеки у нее пунцовы до самых висков. За ужином я произношу тост... И так далее.

Везя Моб в ее лавку, я ловлю себя на том, что рассматриваю кучки зевак у витрин, пассажиров, высыпающих из автобуса, профили в такси, среди которых мне мерещится профиль Дины.

**
*

Лихорадку воображения и какую-то сидящую во мне, как заноза, неловкость здешнего моего бытия я пробую прогнать авто-вылазками.

Садясь за руль, я испытываю ощущение наркомана, полунырнувшего в nirвану одурения: какая-то тяжесть скатывается с плеч, приземленное мое «я» становится легким, как облачко. Оно, это «я» или это облачко, неотделимо теперь от полукрылатой крутой металлической груди моего мустанга, обжимаемой встречным ветром. Авто-мустанга! — что значило бы творчество конструктора, если бы оно не было обогащением природы! Я безошибочно угадываю в этой своей машине смелые и благородные черты скакуна. Я почти вижу, как под красным, цвета сгустившейся крови лаком бьются упругие жилы, нетерпеливо перекачиваются мускулы. Вот я включаю скорость — они вздрагивают и набухают, посылая вперед светом и тенью переливающееся тело; оно тотчас же становится горячим и дышит. Жму еще — мускулы напряживаются до предела, ветровое стекло дрожит, как в скачке лошадиные ноздри, всё дрожит восторженной дрожью скорости...

Как можно бы передать эту дрожь кистью? это растворение самого себя в разбеге?

Как передать это сумасшедшее движение?

Как изобразить в нем неподвижность — предметы, лица, пятна, линии, мимо которых пролетаешь?

Одни из них растекаются, как бы расплюснутые вихрем пролетания мимо; другие сжимаются и сворачиваются, как выкручиваемое руками бельё; одни, взмелькнув по краям, тут же и исчезают; другие — напротив — бегут рядом, как облаивающий вас пёс; ближние лениво загибают навстречу са-

жёнками, медлительно, но готово оставаясь позади; дальние плывут по параболе, как бы дразня вас невозможностью от них избавиться. — Разве ж это движение? — иронически спрашивают они вас. — Движение, которому мы покорились бы, — выстрел!

Хип!

Хип!

Хип! — стреляют в меня пролетающие мимо машины.

«И какой же русский не любит быстрой езды!» Это — о тройке. Но мой мустанг в одиночку разносит меня. «Разносить» — кавалерийский термин, не включенный, кажется, в толковые словари. «Разносить» — о лошади — значит: мчаться, закусив удила, не считаясь ни с пространством, ни с препятствиями, ни с самим седоком, который беспомощен укротить это бешеное движение, замирает в страхе или в наслаждении им...

Выстрелив однажды на таком вот безумии из небольшого туннеля, я ощущаю вдруг накатившую слабость, едва удерживаю в руках баранку руля. Хочу стать на обочину, но, сбросив скорость, почему-то продолжаю ползти.

В этом темпе всё вдруг приобретает отчетливые и тоскливые очертания. Гулко выкрикивает указка справа:

«Аэропорт»!

Съезжаю.

Больше всего на свете хочется мне сейчас чего-нибудь выпить, чтобы отпустило это непонятное оцепенение и тоска.

В зале с баром я вижу Майка. Он стоит там у самых дверей, и почему-то мне представляется, хоть это и невероятно, что он ждет меня здесь.

— Летите куда-нибудь? — спрашиваю его.

— Да, в Н. — он называет город в одном из северных штатов, откуда сам родом. Потом закладывает руки за спину, чуть прикусив губу. Это означает у него обдумывание и выходит так сосредоточенно, что мне кажется, я слышу, как шуршат его мозговые извилины.

— Мне пришло в голову, — говорит он, выпрастывая руки из-за спины, — хотели бы вы полететь со мной? У меня там есть свои владения. Переночуем и уже завтра ночью вернемся назад. Есть еще сорок минут до отлёта. Позвоните Моб — и она привезет вам пижаму и бритву.

— И ящик с красками! — кричит он уже вдогонку, когда иду к телефонной нише. — Там поздняя осень хороша...

12

Бурундучок в полосатом, как на картинах Манэ Кац, халатике присел на задние лапки шагах в трех от меня и почесал за ухом, как гоголевский подьячий, ожидающий взятки.

Я бросил ему орех — и он ловко спрятал его за щеку, став похожим на генерала с флюсом из чеховской «Лошадиной фамилии». Я бросил еще один, и еще — он насовал их за обе щеки равномерно, и теперь, скуластый и с усиками, походил на поэта Брюсова.

Огромный, первобытной шершавости камень, сползающий в озеро; посередине — рыжие пласты хвои, по краям — плюшевая плесень. В нем — что-то фольклорное, напоминающее о граде Китеже. На нем — мой мольберт.

Вода подле каменной кромки зеленая. Потом голубеет и на другом берегу упирается в настоящее буйство красок.

Всё это — в некоей совершенно ошеломительной провинции, куда завез меня Майк.

До того летели четыре часа на самолете, принадлежащем, оказывается, нашей компании.

Летели невысоко, видимость была превосходная, я не отрываясь смотрел вниз. Майк, широкоплечё откинувшись в кресле, шуршал газетой. Раза два я ощутил на себе его выжидающий взгляд.

Что ж, простор и богатство этого края великолепны!

Мне вспомнилась Моб, которая на одном из своих вечеров обсуждала с Майком разные общественные тревоги в связи с инфильтрацией ненависти также и в здешний быт, — неужели даже и такую мощь удастся ей подточить?

— Подточить нашу мощь? — переспросил Майк, кладя в подлокотную пепельницу свою сигару. — Я не думаю... Кажется, что у Моб, как и у многих русских, несмотря на их знаменитое «нитшево», слишком много неверия в будущее. Мы оптимистичнее.

— Отсюда в получасе у меня бунгало, — сказал он, когда приземлились на маленьком аэродроме. — Хотите, переночуем там вместо гостиницы? Вечером услышим певчих гусей, если еще не улетели, а утром — я по делам, а вы сможете сделать кое-какие наброски — местность славится красками как раз в это время.

И вот я кормлю бурундучка орехами, согреваясь все еще теплым солнцем: ночью было зябко, несмотря на щедро разведенный камин. Певчие гуси — достопримечательность в самом деле. Собственно

это не пенье, но перекличка: кто-то из пары начинает в два тона — нижний, короткий, и верхний, протяжный, призывный, среди тишины и треска камина очень лирический, музыкальный. Спустя несколько секунд прилетает ответ, похожий на тирольское «йодельн» — капризный, почти истерический.

Итак я кормлю бурундучка орехами и пытаюсь перенести на холст осеннее половодье листа — кисть набирает «багрец и золото», синьку — для почти италийского колера неба; на синьке — горы, к неожиданности которых глаз вообще отказывается привыкнуть.

Это пиршество цвета немислимо передать, разве только — впечатление! Оно, впечатление, снова относит меня к «Победительнице», то есть к тяге повторить в новой композиции тот сплав почти мистического движения и покоя, который, кажется, я когда-то нашел и который теперь нужно бы мне найти по-другому — в этой вот взлетающей к небу россыпи красок и неподвижности камня, на котором легкая глыбка человеческого тела сквозила бы как коралл...

Сзади меня — старенькое бунгало, пахнущее внутри жухлым тесом, с паутинами по углам. Из расщербившейся слегка трубы — дымок: я подкинул в камин сосновых поленьев.

Под стенами — сливочного цвета маслята. Моб уверяет, что когда сдираешь с них для жарки кожицу, они становятся беспомощно-жалкими, как младенцы, которым переодевают рубашку...

А после возвращения Майка, когда садимся в машину — ехать на аэродром:

— Хотите купить у меня этот клочок берега? — спрашивает он.

— Чтобы «купить», я еще недостаточно здешний, — говорю я. — По крайней мере, судя по банковскому моему счету.

— Вы ошибаетесь. Это будет вам стоить... — позевывая, он называет ничтожную сумму. — Плюс, конечно, кое-что за переделку жилья, — добавляет он.

— Но это подарок?

— Ничуть. Это то, что я заплатил сам лет десять назад... вы найдете справку в бумагах. Теперь у меня другое, и это мне ни к чему, а наживаться на вас я не собираюсь.

— Гм... — говорю я.

— Замётано! — говорит он, то есть я так перевожу на русский то, что он говорит.

13

«Искусство — источник правды, без которой невозможна жизнь человеческого духа», — откуда-то цитирует Моб, и мне неохота спросить, откуда именно. — «Художник, всегда верный своему собственному видению мира, охраняет свободу человеческого духа от того ложного, что навязывается ему властью или толпой».

Моб собирается поместить это на оповещении о моей выставке.* Да, она добилась-таки своего, и в зале клуба, где она членом, развесили десятка три моих опусов. Больше недели я должен был их отби-

*) И так выяснилось, что цитата взята из одной речи Джона Кеннеди.

рать, сортировать и чихать от пыли. Когда-нибудь раньше это, может быть, и заняло бы меня, но в теперешнем моем состоянии удручает: всё, что я делал за последние десять лет, кажется мне никчемностью.

Зал, впрочем, хорошо освещен, но разделила его со мной одна местная художница — в полстены разлюли-голубое поле и посередке клякса, похожая на кизяк; в каталоге значится: «Восход солнца». Рядом, ее же, два портрета жженой умброй с высветленными до бестелесности бюстами и глазами, выписанными, как пуговицы.

Посетителей мало, и они шало загораживают сами себе дорогу, не зная, куда повернуться лицом.

Тотчас наскакивают на меня двое лохматых с рекордером: интервью! Что я считаю самым важным в моем направлении?

Выручает Сергей Сергеич, который вместо меня начинает на эту тему так уверенно, что всё поголовье сразу окружает его подковкой.

Он говорит, что я будто бы нашел себя в жанре физиологического бытового гротеска, но что техника моей темпера совершенна так потому, что в ней скрыта внутренняя обращенность моя к романтизму. Обращенность эту он видит в особенностях моих валёров, и, слушая его, я невольно припоминаю гоголевского Поприщина, который утверждал, что у каждого петуха есть Испания и что помещается она где-то возле хвоста...

Когда он кончает, я нацеливаюсь было домой в надежде, что лохматые теперь от меня отвяжутся, но не тут-то было! «Что я думаю о поп-арте, о позднейшем модернизме вообще?» — спрашивает один из них, приставляя к носу моему микрофон, пахнувший почему-то селедкой.

— Я надеюсь, ты будешь тактичен в отношении здешних новаторов! — шепчет мне на ухо Моб.

Я буду тактичен с новаторами, но поскольку «искусство — источник правды», как написано на программке этой выставки, я скажу то, что думаю.

— Современный модернизм в живописи, — говорю я, — часто безжизнен. Язык любой творческой формы мертв, если он не оказывается одновременно и языком человеческого духа. Модернисты безжалостно этот дух умерщвляют. Толпа, — говорю я, — охотно сбегается на трупы — ей безразлично, на что глазеть. Но творческой мысли в анатомическом театре делать нечего... Модернизм в своей бездуховности такое же антиискусство, как и социалистический реализм с его запретительной тенденцией! — говорю я к ужасу Моб.

14

Однажды — дней много спустя — поздним вечером:

Взрыв либо орудийный выстрел.

И испуганное «О-о!» Моб.

Я подхожу к окну и смотрю вместе с ней на зеленую воронку неба. Всё как обычно.

Еще выстрел, и Моб судорожно сжимает мою руку: багровый снап искр вспыхивает и гаснет как раз над маленькой нашей звездой.

Опять выстрел и — тот же снап, похожий на разрыв зенитного снаряда. Два прожектора, молочного серебра, скрещиваются и шарят по небу. И это так живо воскрешает давнее, пережитое в войну,

что по спине бежит холодок.

Потом один из прожекторов тухнет, а другой снизу вверх, как витрину, протирает прозелень между кипарисами.

И тогда мы с Моб дружно вздрагиваем:

Звезды нет!

— О-о! — снова произносит Моб с грудным выдохом. — Они потушили нашу звезду!

Некоторое время мы стоим молча.

Потом я сажаю Моб в кресло и поднимаюсь к себе. Мне как-то тревожно. Отчего?.. Впечатляет меня эта звездная мистика Моб так, что я уже не совсем различаю явь и воображение? Вот я щиплю себя за руку и чувствую боль — самую что ни на есть реальность... «Они потушили нашу звезду». Кто «они» и почему «нашу»? Экий вздор!

Но заснуть я всю эту ночь не могу, хоть и проглатываю три сонных таблетки.

К утру от них я — словно бы вполпьяна. Как сквозь качку на море, слушаю марафонский монолог Моб. Таинственным образом потушенная звезда знаменует, оказывается, здешнего убиенного президента, которого она обожает и цитирует.

Апокалипсическому толкованию Моб несть конца, и мне становится невтерпеж слушать.

Я говорю «Аминь!» и поднимаюсь.

Это уж почти ссора.

Мир восстанавливает звонок Майка. Он спрашивает, очень ли вчерашние взрывы помешали нам спать? Как выясняется, затеянные им работы по преобразованию природы идут и по ночам; вчера, сооружая очередной водоем, он распорядился сбрасывать какие-то взрывные баллоны прямо с воздуха. Пелена красной пыли, из которой состоит здесь почва, запорошила весь звездный горизонт...

День сегодня рабочий, но я объявляю Майку, что нездоров и останусь дома.

Торопясь спрятаться от испуганных щек Моб, запираюсь у себя в студии и хожу, хожу взад-вперед, бессильный взяться за что-нибудь, хрустя разбро- санными по полу осколками пастельных мелков.

Хожу, отодвинув к стене мольберт и всё, что можно убрать с дороги, чтобы больше было прост- ранства.

Пространство, однако, напротив, смыкается, те- снит меня, плющит шаг, провисает над головой. Я в клетке! Вот-вот мне нечем дышать!..

Я одеваюсь и иду к своему мустангу.

За спиной, мне вслед, что-то говорит Моб.

Я не оглядываюсь...

**
*

.....

Поразительно, что я избегал до сих пор штрафов за превышение скорости!

В этот роковой раз, о котором сейчас рассказы- ваю, особенно долго шел слева, оставляя всех поза- ди.

Никто и не пытался меня обогнать. Только од- нажды стал наседать сзади голубой мерседес. Жен- щина за рулем, тоже в голубом, была живописна и, насколько я успел разглядеть в свое зеркальце, готова была испепелить меня за помеху.

Я не уступал, и она, вне себя, обогнала справа, что тоже запрещено здешними правилами. Пару секунд мы шли рядом, и она, взглянув на меня впол- оборота, сделала пренебрежительную гримасу, ка-

кую только и можно ждать от такого бесконечно жестокого существа, как женщина, если она не мать, не жена, не любовница, а просто ничья смазливость, презирающая в своей ничейности всех не значимых для нее двуногих.

Она сделала гримасу и рванула вперед, а я, полусняв ногу с газа, закрываю глаза и вижу вдруг рядом с собою Дину. Она бледна, у нее вздрагивают округлые побелевшие ноздри (я знаю, что она боготворит дикую езду).

— Как вы могли уступить ей? — спрашивает она, задыхаясь. — Как могли? Мне стыдно за вас!

— Стыдно, потому что вы сумасшедшая.

— Стыдно, потому что я вас люблю!

— Что за вздор! — говорю я, нажимая на скорость.

Мустанг на мгновение отделяется от земли, будто беря барьер. Открывая глаза, я вижу в ветровом стекле голубое исчезающее пятно мерседеса и несущиеся на меня вдоль рубчатых колея белые кляксы, похожие на кружевную оторочку.

Мне бы притормозить!.. Я вдруг припоминаю теперь слова Моб мне вдогонку: радио предсказало на сегодня гололедицу, а сама она, Моб, «нехорошо» видела меня во сне.

Но предчувствия и чернокнижие мне надоели, одержимость же скоростью не оставляет меня, и еще — что-то вроде почти отчаяния, что вот уж до галлюцинаций примысливаю себе, чего нет.

И вместо «притормозить» накатывает вдруг блажь, наваждение — догнать голубое гримасничающее пятно впереди! Перехватить во что бы то ни стало!

— Газ!

— Газ!

И — ура! оно подается. Оно приближается. Оно скинуло скорость!

Как трассирующие пули, мчат мне навстречу вдоль обочин сверкающие провода на руках каких-то двупятых набегающих мачт.

Я слышу, как ёкает что-то в мустанговых легких, но обхожу глазами спидометр. Он вот уже, мерседес, рукой подать!

Но что-то подшибает мустангу ноги.

Рвет в сторону.

Швыряет в бешеный штопор, обрывающий дух.

Я успеваю увидеть, как мачты и провода, сгрудившись, кидаются на мое ветровое стекло.

Удара я не помню.

15

Моб у кровати моей — все дни; покуда длился шок — и все ночи: трубка в вену, респираторы для дыхания, шприцы, таблетки — всё под ее недреманым оком, а холодок смоченной в ледяной воде салфетки на моем раскаленном лбу я помню даже сквозь беспмятство.

Моб вымолила у Бога — она говорит — мою правую дважды перебитую руку; по-моему, не только руку, но — всё то чудесное клеево, которое медлительно (я висел три недели, как гусь в мешке), но благотворно сращивало прочие мои суставы, трещины и черепки.

Одно время в палате, у окна, помещался и другой лежалец — лет за семьдесят, из бывших актеров. Увы, лежал он только днем, а по ночам бродил, шаркая невыносимо; полустарушка из бывших, вероят-

но, поклонниц приносила ему, по-моему, наркотики; заглотив их, он становился в позы и что-то принимался читать из ролей.

Моб рассказала про него Майку, старика перевели, и я остался один. Одиночество это, я слышал, здесь дорого стоит, но Майк сказал: «Всё ОК!»

Последний месяц Моб приходит ко мне только к вечеру, и это тоже Майк, волшебный менеджер нашей заокеанской судьбы: он устроил ее что-то подсчитывать в своей конторе.

Я думаю теперь, что надо разбиться до полу-смерти, чтобы познать как следует самого близкого к тебе человека. Моб — единственное близкое мне существо на земле, но как часто ее волевой напор, властность и дидактизм казались мне себялюбием, неспособностью угадать, чем томим другой. Нет, оказывается, есть в ней такая способность. И чуткость.

— В бреду, — как-то начинает она, — ты часто звал Дину. Просил сообщить ей о несчастье.

— Просил я?

— Да. Я послала ей телеграмму. И представь: у нас завязалась очень живая переписка. Должна признать, я многое пересмотрела в ней. В ее пользу. Тоже и отец Андрей пишет о ней очень хорошо. Хочешь, дам одно его письмо, у меня с собой?

— Оставь мне, я после прочту...

В письме действительно было много и лестно про Дину, про ее «испытующие вопросы — результат долгого пребывания духа впроголодь, как у многих других подсоветских»... «Уверен он, что у многих?» — думал я...

Но письмо было позже. А в конце этого разговора я углядел в Моб заминку: будто знала еще кое-что, чего не нужно было знать мне.

- Ты чего-то не договариваешь, я вижу?
- Пожалуй. Насчет Дины и Вилли. Они разошлись.
- Быть не может! Когда же успелось?
- Она пишет, что решила развестись с ним еще во время беременности. Значит, я думаю, уже месяца два как одна. Развод там не сложен.

**

*

Ну вот, теперь Дина помянута мной достаточно, чтобы для читателя этих записок дальнейшее не было бы слишком «вдруг».

«Вдруг» оно было прежде всего для меня самого.

Представьте себе утро, с солнечными в окошко лучами, процеженными сквозь мельчайшую красноватую пыль (смотри «Гроздья гнева» Стейнбека) и потому тоже чуть розового оттенка, и молоденькую сестру-корейнку, с которой набрасываю я портрет.

Мне все еще не разрешено вставать, только приподниматься, опершись на подушки, и я полулежу с пюпитром для чтения на груди, но на пюпитре — мой альбом и пастельные мелки.

Этот позыв — рисовать — пришел дней десять назад, потребовав челобитья начальству, и обернулся необыкновенной продуктивностью: полдюжины сиделок и фельдшерниц, один бородатый санитар-подметальщик и наконец сам его величество мой хирург запечатлены угольным штрихом на моих листках и вместе с ними далеко разнесли мою славу. Кажется, на меня теперь даже очередь, с междоусобицей среди отделов и этажей.

Но этюд с корейнки делаю я пастелью — без-

можно было бы передавать углем эти оливки глаз, этот великолепного тепла колер кожи — как если бы вы в черный кофе размешали бы, за отсутствием молока или сливок, яичный желток. А румянец на разлетевшихся скулах! а синий отсвет волос! а янтарные переливы лба и висков!

Оттого, что портрет впервые цветной, из коридора то и дело заглядывают любопытные.

Одна из заглядывающих вдруг делает моей кореянке знаки. Та вспыхивает, извиняется, скрывается за дверь и тотчас же в замешательстве появляется на пороге снова.

— К вам девушка, мсьё Пьер! — говорит она и исчезает.

Кроме девицы с банджо и в лунном парике у меня здесь знакомых девушек нет. Она к тому же дважды уже навещала меня. Поэтому, смახнув на одеяло мелки, я откидываюсь, закрываю глаза и жду.

Слышу неуверенный перестук каблуков у порога, потом быстрые шаги и тот теплый шорох, когда кто-то опускается у вашего изголовья на колени.

Затем этот кто-то легким касанием целует меня в лоб.

Я открываю глаза:

Дина!

Описание волнительных переживаний мне не под силу; тем более, что, как и в живописи, здесь нужно обойтись без нажимов.

Лучше всего — диалог!

— Если вы сию минуту думаете, может, что я привидение, — говорит она с горящими скулами, — то я — нет. Я — на самом деле. Час тому назад прилетела на здешний аэродром и получила от Моб путевку на встречу с вами.

Она словно бы чуть пожухла; две тонких касательных к углам рта морщинки и еще по две, вилочкой, к углам глаз. Но глаза стали больше, кожа прозрачней, и теперь я писал бы ее только акварелью, может быть — в медальон.

— Говорят, вам тут всего еще месяц лежать? Я пробуду у вас пару дней...

.....
С этого места записки мои, боюсь, пойдут скачками — без пересказа разных временных мостиков и пауз.

Например — той, которая возникает после этого «Я пробуду у вас пару дней».

Разговор вроде бы и идет, но, несмотря на сутолоку мыслей, — без слов. И без никакой тягости от молчания...

— Где вы остановились? — спрашиваю я наконец.

— Моб пригласила меня к себе. Кстати: просила вам передать, что после завтрака отпросится у своего босса.

Теперь уже приходят слова. Правда, говорит только Дина — о том, как получила от Моб известие, как хлопотала о визе, как летела сюда. Говорит торопливо и без передышки — я вижу, что «занимает» меня и что мой вид и моя распластанность пугают ее больше, чем стоят того.

И когда приносят еду, чуть что не пытается кормить меня с ложки.

Потом укладывает на «мертвый час» и сама отсаживается на дальний стул с моим альбомом.

Спать я конечно не сплю и слежу, как рассматривает она мои наброски.

А немного спустя появляется Сергей Сергеич.

— Моб звонила, что к вам прибыла гостья, и я,

как говорится, взял на себя смелость... — басит он и берет себе стул. — Тем более, что о «Победительнице» порядком уже наслышан.

Он необычно подтянут, округл и ласкателен, Сергей Сергеич. После знакомства и минут десяти *causerie* так ловко принимается расспрашивать, что я только диву даюсь. — «Ну как в Ленинграде...?» «А сколько...?» «Да полно, разве там у вас есть...?» И так далее.

Дина пожевывается, откидывает за уши пряди со щек, но отвечает. Такой готовности отвечать на перченые вопросы я прежде за ней не знал.

Отрывки из интервью:

— То есть как это — не было общественной жизни? У нас, например, был свой, закрытый кружок. Это еще много до встречи с Вилли. Восемь человек. Две подруги мои из Герценовского — я тоже была там год, но накопила хвостов, пришлось взять работу, я Пьеру рассказывала... Потом из нашей чертежной трое, художники. И у одного — друг, мировой парень, то есть я хочу сказать — блестящий, умный, он кандидатскую по философии защитил. Был у нас главным в кружке, доклады ставил, дискуссии.

— О чем же?

— О разном. Эти две подруги мои стихи писали и прозу. Очень в модерне, чуть — под Вознесенского, прями слова из звуков. Иногда бывало забавно. Обе в жизни простые, а станут читать — как гавайская получалась гитара: дым-м-м-м... плыл-л-л-л...

Тут она улыбнулась, первый раз за приход, и Сергей Сергеич подхватил торопливо:

— Дальше, дальше, пожалуйста!

— Что ж дальше?.. Тоже и трое художников были из абсурдистов. В общем, картины их мне не

нравились, не подумайте, — просто они выявляли свою платформу. Но Вадим, философ наш, экзистенциалист, другими горел проблемами.

— Религиозными?

— Вроде бы напротив... Так вдруг не расскажешь, но если передать главное рассуждение, то...: доброго Бога нет, мы его отрицаем. Но кто помогает нам в нашей отрицании? Ведь отрицать надо всё, всё выбросить за борт: мораль евангельскую, каноны. Кто помогает нам так победительно всё отрицать? Сила Вторая! В общем Вадим читал нам философию Второй силы.

— Сатанизма?

— В общем — да. Персонального, как он это называл. В смысле, что в каждом из нас есть она, эта «минус-сила», в отличие от Божьей, и надо с гордостью на нее опираться. Если, скажем, ложь победительна, то и лги, и ощутишь сам в себе эту силу. Даже и...

— Сладострастие?

— Вроде... Но, знаете, не хочу больше об этом. Это — прошлое.

— Интересно: считал Вадим ваш себя новатором? Еще в начале века были в Петербурге же...

— Историю вопроса Вадим знал железно, будьте уверены.

— И не боялись вы проводить собрания? Не засекали вас?

— Стукачей среди нас не было. А засечь — засекали, верно, то есть знали. То есть кто-нибудь из соседей капнул на нас. Уж много позже, когда собралась за Вилли, допрашивал один, задним числом. Хотел даже пришить антисоветчину, но когда всё растолковала ему, отвалился, сказал даже, что раз против церкви, так, может, и прогрессивно... Ладно!

это вы всё меня выпытываете. Что если сама вас спрошу? Можно?

— Сделайте одолжение.

— Что думаете о религии вы сами? Вы — атеист?

— Нет, почему... верующий. Но не совсем в ладу с церковью. Полуеретик.

— Это как же?

Было удивительно, что Сергей Сергеич принял эту тему так охотно, в полный серьёз. Но он принял.

— Видите ли: Бог для меня — величайшей тайны непостижимость. То, как толкуют Его богословы, кажется мне самоуправством над этой непостижимостью, симфонией, сыгранной на свистулке. Бог — в душе, и более вещное выражение Его невысказано. Поэтому к церкви трудно мне подключиться. Не могу...

— Где уж вам — подключиться! — говорит, возникая на пороге, Моб.

Должен сказать, что внезапный Динин приезд собрал в тот послеобеденный день в палате моей конклав со смешением языков и томпераментов. Пришла девица с банджо (то есть, конечно, без банджо — я просто оставляю привычное обозначение); затем — Майк; наконец — мой хирург: заглянул в дверь на обычном стрёме со свитой, но, заинтересовавшись многолюдством, подсаживается ко мне на кровать.

Далее сказывается, я думаю, славянский дух — охота витийствовать на любые темы; бродило, как всегда, — Сергей Сергеич, вдохновляющийся даже мини-аудиторией.

Начинает, помнится, Майк, профессионально, спрашивая Дину про бывший Императорский, а теперь Ломоносовский фарфоровый завод в Ленин-

граде. Моб переводит туда и обратно. И затем вдруг Майк тоже:

— Существует ли в Советах антисемитизм?

Дина мнется, выжимая хлипкое «нет», но тут Моб вставляет неожиданно в перевод собственное свое «да», цитируя, по-моему, Булова, и ответ перехватывает Сергей Сергеич.

— Есть два антисемитизма! — объявляет он, то вынимая, то снова засовывая в карман трубку (ибо курить в палате нельзя): антисемитизм дворников и просвирен, который русскому интеллигенту был отродясь чужд, и антисемитизм Достоевского — по существу и не антисемитизм вовсе, но футурологическая проблема, спор между иудаизмом и православием. Ну-с, гимн «богоносцу» отзвучал, самоочевидно и имманентно, потому что никакого национально-религиозного сознания у него не оказалось, напротив — поразительная склонность к духовному растлению. Но шовинизм у хозяев жив. Тоже и в эмиграции мессианский оптимизм еще дышит вместе с верой в единую-неделимую. *Les extrêmes se touchent.** В такой вере и Булов ваш...

Это уже по-русски, обращено к Моб, и у них загорается спор. Девица с банджо, похлопав непонимающе глазами, решается на вопрос сама. Она побывала недавно в Москве в порядке обменки и, я знаю, весьма прогрессивна. «Верит ли советская молодежь в социализм?» — спрашивает она.

Теперь перевожу я. С надсадом, потому что одновременно начинает Майк — о «социализме с человеческим лицом» и — в ногах моей кровати — хирург, сомневающийся в социализме вообще. Мне бы как переводчику несдобровать, но Сергей Сер-

*) Крайности сходятся (франц.)

геич, отвернувшись от Моб, снова перехватывает тему.

— Социализм — утопия! — возглашает он, и я выписываю его тираду по памяти. — Сама идея социализма утопична и осуществление ее непременно кончается курятником. Куры — дегенераты пернатого царства: ни летать, ни плавать, ни пересечь без паники улицу, и не это ли замысел социализма в отношении масс?

Социализм пишет «человек» всегда с самой маленькой буквы, и люди когда-нибудь об этом все-таки догадаются. Нельзя ведь представить себе, чтобы где-то решили отрезать при рождении у каждого младенчика одну ручку. А при социализме так же заранее отрезают у человека право на автономию его «я»; стадность объявляется обязательной. Где-то у Маяковского, программного советского поэта: «Единица вздор, единица — ноль. Один, если даже очень важный. Не поднимет простое пятивершковое бревно»... и так далее. Экая дичь! А вот пулю в лоб этот один может пустить себе без коллективной помощи. Сие доказано... И почему, например, так зверски пьют советские люди? эта самая молодежь, о которой вы (поворот к девице с банджо) спрашиваете? Потому что уже при рождении лишены самочинной жизненной перспективы — мечты о кругосветном, по собственному маршруту, путешествии, своей яхте, своей земле, своей независимой практике — врача, инженера, изобретателя чего-нибудь не из-под палки. Людям разрешено пользоваться прометеевским огнем только для освещения здания строящегося коммунизма, которое, конечно же, никогда не будет достроено. Как тут не запить?.. Возвращаясь к Маяковскому: что в самом деле делать творческой личности, если не хочет продаться? «Искусство, — пи-

сал Флобер, — лучшее свидетельство, которое мы можем дать в подтверждение своего достоинства». А что за достоинство у продавшихся?..

Слушалась вся тирада в немой тишине. Но уж к середине ее произошло со мной неожиданное: всё мое естество, где только было оно подштопано и подлечено — ключица с металлической скрепкой, переломы руки и бедра, даже и черепные кости в затылке — всё занялось вдруг такой нестерпимой болью, что через не могу сдерживался, чтобы не застонать.

Должно быть и побледнел, потому что испуганно кинулась ко мне Моб, и хирург, помяв меня за плечи, разогнал митинг и вспрыснул болеутоляющее.

16

Вероятно и снотворное тоже — проспал я более полусуток.

Сны вижу я редко, но тут снится один видовой, почти приключенческий, и вместе с тем без обычных нелепостей сновидения. Будто мы с Диной летим на север, в то крохотное поместье, которое продал (точней — подарил) мне Майк. Летим низко, и это будто — весна, солнце; бугристо и впрозелень стелется под нами земля, и комаришкой навстречу ей летит наша тень.

— Какой простор! — восхищается Дина.

«Какой простор! — повторяю я про себя. — Какая почти первозданная ширь! Сколько миллионов душ готова она еще принять. И как можно было называть наш переезд сюда катастрофой!»

— Знаете, Пьер, — говорит, не глядя на меня, Дина. — Когда хлопотала в консульстве сюда визу, сказала, что мы с вами обручены, — посоветовали мне так сказать, чтобы растормозить бюрократиков. Так что не возмущайтесь, если узнаете!

— Они не удивились разнице в двадцать пять лет?

— Не их собачье дело! И не вижу здесь ничего удивительного.

Интересно, что позже, припоминая эти слова, я сомневался: может быть, я вовсе и не во сне слышал от нее это?..

Итак, мы летим в весну, и вот уж повисает наш вертолет над голубой плоской озера, и я узнаю бухточку с серым камнем и линяло-карминную крышу бунгало. Да, конечно, у нас вертолет — во сне ощущая сон, я удивляюсь рациональности видения: иначе — как бы мы могли приземлиться?

И мы приземляемся.

Еще через какое-то время в камине, сложенном из серых булыг, — огонь; в котелке — окуньки, которых я наловил, и густой вокруг дух ухи, которым пропитались даже Динины волосы.

Впрочем, в бунгало у камина — Дина одна, я с мольбертом — фронтом к могучему серому камню в зеленой замше внизу и дужкой едва зазеленевших веток — поверху. В эту рамку, то есть на камень, я хочу посадить Дину, но она кричит из двери: «Нет, мне некогда!», а через минуту вдруг появляется в оранжевом своем купальнике и бежит с камня нырять. Я удерживаю: вода ледяная, и неизвестно дно...

— Наплевать! Вообще не хочу вам больше позировать.

— Почему? — спрашиваю я, и — слово за слово — мы почти ссоримся.

Мы почти ссоримся, но где-то на озере затягивает свой речитатив певчий гусь, и мы, замолчав, прислушиваемся...

В этом, кажется, месте меня будит дежурная, чтобы принял лекарство.

.....

Потом — звонки.

Моб: «Как ты себя чувствуешь?» И кряду — длинный отчет о фантастических, по-моему, их с Диной планах. «Она сегодня будет у нас в офисе, и представь: уже прилично знает английский, учила дома, а вчера будто бы стеснялась... Передаю ей трубку.»

Дина: «Пьер! Майк хочет показать мне свое производство. Мы будем у вас часам к трем. Выспитесь, пожалуйста, к нашему приходу и не занимайтесь искусством — я имею в виду портреты медицинского персонала. Пока!»

Сергей Сергеевич: «Она в самом деле очень занятая, ваша победительница! Когда будет у вас? Можно и мне тоже?»

.....

Появляются они все трое разом.

— Сегодня у вас цвет щек — что надо! а как голова? — спрашивает Дина и кладет ладонь на мой лоб, отчего, мне вдруг кажется, из-под него уходит последняя застрявшая там со вчерашнего вечера муть.

— Майк несказанно добр! — говорит, усаживаясь, Моб. — Очень ценит твою работу и, знаешь, предлагает нам перебраться в ньюйоркский филиал фирмы. По его мнению, здешний климат и окружение вредны для тебя. Идея, не правда ли?

Я хочу спросить вполухутку, переберется ли с нами и сам Майк, но Моб ждет ответа с таким не-

терпеливым смущением, что я только улыбаюсь — идея мне по сердцу! — и она радостно переводит дыхание.

Сергей Сергеич задумчиво выбивает на щеке «Жил-был у бабушки»... — Придется тогда переселяться на север и мне! — говорит он и берет в руки мой альбом с рисунками. Помянутый уже выше портрет медсестры кореянки вызывает неожиданный взрыв.

— Ну вот, вот! — гудит он, и как-то сам собой вспрыгивает на его пролысине чубчик. — Недаром же я разглядел в вас романтика! В этом вашем этюде — романтика чистой воды!

— Почему? — спрашивает Дина. — Давно хотела спросить у вас. Почему бытовое у Пьера, вашему, не реализм?

— Потому что у него есть нечто над реализмом, есть «возвышающий обман», который дороже тьмы низких истин — в этом между прочим и заключена тайна творчества. Без возвышающего обмана в романе, в картине ли — нет искусства. Без этой поправки на что-то дополнительное и неизъяснимое словом — к портрету, характеру, пейзажу или описанию происшествия перед нами не творчество, но фотография, вытянутая из автомата. Доказательство, как это происходит в части поэтического слова, — вся почти современная советская литература, насквозь реалистическая и потому антихудожественная. А из «тьмы низких истин мне дороже»... вышли и Наташа Ростова, и князь Мышкин, и русское балетное искусство, и «Демон» Врубеля — всё вышло отсюда. Чудеса Запада я уж и не перечисляю...

— К «возвышающему обману» не относите ли вы, случайно, и веру? — интересуется Моб.

— Непосредственно, конечно, нет.

— А посредственно?

Я думаю о страсти Сергей Сергеича к гиперболам и не слушаю завязавшегося у них разговора.

Не слушает его и Дина. Спрашивает, наклонившись ко мне, шёпотом:

— Можно мне придти завтра совсем рано? Разрешается, кажется, с десяти. я читала у входа. Можно — в десять? В час Моб заберет меня на аэропорт, а до того — у меня очень важный к вам разговор...

17

Это: «очень важный к вам разговор», признаться, сверлило у меня в ушах всю ночь. О чем бы?..

Догадка появляется только утром, когда Дина входит ко мне в палату с туго заложенными, почти зализанными за уши прядками волос и каким-то сиротским, напряженным лицом, чуть похожая на послушницу, явившуюся к игуменье на вызов.

Сказавши «С добрым утром!», сидит молча, машинально поправляя мои подушки и цветы в вазе на ночном столике, и мне вдруг кажется, что я отгадываю словно бы исповедническую нить ее мыслей, разматывающуюся с души ее, как с клубка. И вот нить эта застопоривается, натягивается, грозя оборваться, и она начинает отрывисто, глядя от меня в сторону, так что я напрягаюсь, чтобы не пропустить ни слова:

— Не знаю, к чему приведет, но должна рассказать... И не стесняйтесь реакцией, я стерплю всё... Но, пожалуйста, молчите пока...

Она задерживает дыхание, и возникшая пауза

— подстать Раскольникову перед его признанием в полицейском участке.

— Это я сообщила тогда про вас на Большую землю, — говорит она, обернувшись ко мне лицом и подчеркивая ударения в словах мелкими кивками головы, как это делает Моб. — Про вас обоих и про ваших родственников в Ленинграде, с ваших же слов. Сообщила в органы, в общем — донесла...

Замешательство возникает теперь и с моей стороны: ничего неожиданного в ее признании для меня нет, но сказать ей тотчас об этом я не могу. Разыграть изумление — тоже.

— Гм... — говорю я. — Таким уж огромным предательством это не было.

Вскинувшись на это «гм», она смотрит на меня ошеломленно и недоверчиво и, видимо, прочитав что-то на моем лице, отворачивается с краской на скулах. Эта третья и последняя пауза — дольше всех.

Потом следует более связное:

— Я расскажу вам всё, вам только одному... Простите меня или нет, но хочу, чтобы вы знали... Когда я решила выйти за Вилли, можете вообразить себе, что тут началось? Какая петрушка? И как меня — по инстанциям, от комсорга нашего и до, сказать бы вам до каких высот! Да вы же не при царе Горохе из Союза уехали, можете, думаю, себе представить. «Что делаешь? Родина тебя воспитала, выпестовала»... и так далее. Сперва я отбрехивалась, но потом всё пошло сложнее. «Отпустим тебя, раз такое дело, однако учти: как свою! Ты наш актив, комсомолка, в кандидаты великой партии собралась, — неужто оторвешься от родной земли, как падалица с яблоньки? Нет, нашей должна и у капиталистов остаться!» Ладно, говорю, в чем дело-то? Мол-

чат. Молчат и тянут. «Жди!» говорят. День за днем, неделя за неделей. Наконец из органов один, очень высокого звания, так подступил, что вроде он поэт и психиатр разом. «Я одинок, — говорит, — ни жены, ни сестры, ни матери, но будешь мне сестренкой, самой дорогой и любимой, если скажешь «да». Я губы кусаю: «что — да?» — спрашиваю, «что делать?» «Ничего, — отвечает, — увидишь сама. И во всех, — говорит, — бедах выручу, по ковровым только дорожкам будешь ходить, а мамаша твоя у нас — как у Христа за пазухой будет». Так толком другого ничего и не сказал. Но уже на ненашем аэродроме, как сходить, бортпроводница сунула в руку адрес с фамилией. Там, в нашем городе.

— Явку?

— Вроде так. Можно мне не называть пока имени?

Имя я тотчас же угадываю сам. Мы встречались с этим человеком у общих туземных знакомых. Был он отпущен четыре года назад тоже из Ленинграда для натурализации по случаю скандинавских предков. Я тогда еще сомневался относительно предков, и было что-то паясническое в его «Привет, привет!», которыми неизменно встречал. В прошлом, я знал, он был членом партии; здесь, значит, стал резидентом.

— Как хотите, — говорю я.

— Я вам потом непременно скажу... И вот, значит, сразу всё началось. Всё ему о вас передавала. От родных письма, посылка, старичок один к вам приезжал — это всё он устроил. То есть мы, я с ним... Но про то, что вы — не вы, — тут только он один, слово даю! И еще — про то, что будто были у Власова. Ведь вы не были?.. Нет?.. Я знала. Тут я противилась, чуть глаза не выцарапала ему, но

помешать не могла. Проклинала себя, но нужно было молчать.

— Почему? Что мешало вам послать его к черту?

— Много чего мешало, не хочу об этом сейчас... Главное — мама моя была там, поймите! Полупарализованная... сиделка ходила из амбулатории каждый день. И он говорил: «Хочешь погубить свою мать? Тогда валяй, действуй по-своему, разминемся. Но учти и для себя: руки у нас длинные»... И я слушалась. Помните, может, ваше первое приглашение? на ужин? Это он запретил идти...

— Неясно мне, зачем всё это было. К чему мы понадобились ему, я и Моб?

— Всех брать под лупу! — говорил он. — Всех ренегатов, бегунов с родной земли! Прощупывать всех: кто враг, кто друг, то есть может чем быть полезен... А нет — спускать с рельс, как наши партизаны фашистские поезда, рушить их самодовольную сытость, чтобы самим коптеньем своим не вредили нашему делу. Мутить!..

— Мутить, разве что... Ведь вот и в самом деле — почти принудил нас перебраться за океан. Шантаж, родные-заложники! В «Белой книге» Моб и Бурова об этом обо всем предостаточно. А как теперь ваша мама?

— Умерла шесть недель назад. В общем — всё! Теперь... только ответьте честно! хочу спросить...

Она не договаривает, потому что входит знакомая уже читателю записок моих кореянка — мерить кровяное давление. Покуда мерит — из-за локтя ее и набухающей воздухом на моей руке обмотки я вижу, как мучительно, отжимая краску со щек, складывается у Дины вопрос.

И когда мы снова одни:

- Вы меня презираете?
- Что за чепуха! Мы друзья.
- Сможете когда-нибудь простить?
- Смог уже давно.

Краска заливает теперь не только скулы-виски, но все вскинутое на меня лицо и шею.

— Вы хотите сказать... — шепчет она, а может быть мне только кажется, что шепчет, потому что у меня тоже горячит что-то в горле, и я жду, когда оба мы войдем в берега.

Она входит первая:

— Должна была объяснить, как случилось, что предавала вас... И другое, до поворота в себе. Хотите расспросить еще что?..

— Ну, может быть, об этом, как вы называете, повороте. Ведь поначалу вы отвергали нас, здешних, вполне чистосердечно? Как он произошел, этот поворот?

— Знаете, — говорит она с самой широкой своей улыбкой, — спросите об этом Моб! Она мне вчера такую теорию развела о двойничестве, и так ловко, что я в эту теорию влезла точь в точь, с головой. «Радиация добра оказалась сильнее радиации ненависти»... — это ее! Но лучше, повторяю, спросите у нее у самой...

**
*

Когда, часа через два, я останусь один, — целый хоровод слов явится ко мне вместе с сожалением, что два часа назад их не сказал.

Но в нашем с Диной интермеццо, после ее приз-

нения, говорить нам не хотелось, мы почти упоенно молчим.

Может быть, впрочем, и говорим про себя, и не друг с другом, а с неким — Третьим, в руках которого триптих времени, наше вчера, сегодня и завтра. Они невероятно и непредвиденно вдруг смыкаются, зажигая вокруг проникновенный свет, в котором значительны одни только произнесенные слова, а прочие, какими все-таки обмениваемся, не нужны и ничтожны.

Как, например, после завтрака, который тоже проходит почти в молчании.

— Вы ведь не сразу к себе, в Европу? — спрашиваю я. — Забавно, что ваши планы мне известны от Моб.

— Потому что не интересуетесь первоисточником.

— Интересуюсь, но, в самом деле, не спрашиваю. Почему бы это?

— Не знаю! — говорит она с полудосадой. — Но постановили: спрашивайте только у меня!

— Я уже спросил!

— Да, верно, спросили. Я задержусь в Нью-Йорке. Не знаю, чего еще вам не сказала Моб.

— Больше ничего не сказала.

— В Нью-Йорк я лечу с вызовом на работу, который мне дал Майк. Буду хлопотать о постоянной визе.

За окном, этажом пониже, — длинный автогудок. Узнаю: мой, восставший из пепла, мустанг!

— Моб! — поднимается Дина. — Бегу!.. Можно мне увезти с собой этот ваш альбом? Я верну потом...

Не дожидаясь ответа, она нагибается за альбомом и мимоходом целует меня в губы.

— Кстати: Моб велела сказать, что заедет к вам на обратном пути.

Мне трудно представить, что вот-вот, через одну-две секунды, Дина уйдет, и я спрашиваю бездумно, только чтобы чуть ее задержать:

— И не жаль вам покидать Старый свет? Скандинавию?

— Говорят, Софья Ковалевская — она ведь была в Стокгольме профессором — записала в дневнике, что самый счастливый час у нее в году — это когда она уезжает на материк. Я дохну с тоски тоже. Страна чудесная, и народ... Но мне вреден север, — сказали врачи, и после Балтики хочу побольше солнца.

Снова сигналит Моб.

— Иду, иду! — кивает Дина окошку.

И мне, с порога:

— Всего!..

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

ЯЗЫК И ТОТАЛИТАРИЗМ. Изд-во Института по изучению СССР. Мюнхен, 1951.

МЕЖДУ ДВУХ ЗВЕЗД, роман. Изд-во им. Чехова. Нью-Йорк, 1953.

... ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ, роман. «Посев», Франкфурт на Майне, 1960.

ДВОЕ НА КАМНЕ, повести и рассказы. «Товарищество Зарубежных Писателей». Мюнхен, 1960.

ЯЗЫК И СТИЛЬ РОМАНА Б. Л. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО». Изд-во Института по изучению СССР. Мюнхен, 1962.

ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ, повести и рассказы. «Товарищество Зарубежных Писателей». Мюнхен, 1966.

ПРОЧТЕНЬЕ ТВОРЧЕСКОГО СЛОВА. Изд-во Нью-Йоркского университета. Нью-Йорк, 1970.

ТВОРЕЦ И ПОДВИГ, очерки по творчеству А. Солженицына. «Посев», 1972.

ТРИ ТЕМЫ ПО ДОСТОЕВСКОМУ. «Посев», 1972.

ДВЕ СТРОЧКИ ВРЕМЕНИ, роман. «Посев», 1976.

SOLZHENITSYN: CREATOR & HEROIC DEED. The University of Alabama. Alabama, 1978.

